

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

#### Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

#### О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

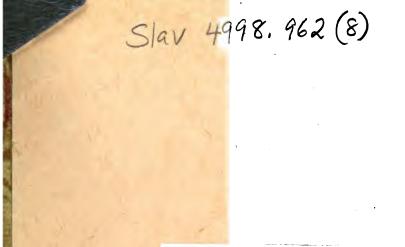
Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





HARVARD COLLEGE LIBRARY



nimeramyero-maykorned Micayronk.

№ 8, Серпень 1906.

Digitized by Google

## Що ∈ в 8-и книзі:

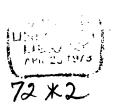
Кримський А. Бейрутські оповідення, П. Содомониця, або	
Соловоя у спідниці	1
Грінченко В. Старі пісні. Вірші	26
Капельгородський П. Сільський продетаріят в Кубанцині.	27
Григоренко Г. Чи по правді? Оповідання	40
Старицький М. Зо мая минулого. Уравки спотвдів	60
Черкасенко С. Ніч. Вірші	80
Чериянський М. Хліб наш насушний. Наряс	81
Бондаренко I. Велике попстания виглійського народу	83
Доманицький В. Новознайдені поезії Т. Шевченка	102
Брандес Г. Аватоль Франс, Поровлада Н. Г.	113
Грінченко Б. Іванові Франкові	138
Ярошенський Б. За кордоном.	
<ul> <li>винецький імператор і англійський кородь.—Шахрайства в пінецькому колонівльному уряді.—Трансвиальська конституція.—Останні рахунки бурської війни.—Англійське та французьке громадавнотво і россійські події. Конституційний рук на сході</li> <li>Біблюграфія.</li> <li>І. Н. Ленкай. З глубин душі. В. Ленкай. По дорозі жита. П. Є.—М. Драгоманов. Розвідки про тираїнську народню словесність і письменство. Том ІІІ. В. Грінченка.—Харузин ІІ. Этнографія. Ленція, читанных въ Императорскомъ московскомъ университеть. ІV. Візраванія. Харузина В. Матеріали для бабліографія этнографической литературы. В. Д.  П. Українська преоса.  ПІ. Піо в по журналах: "Записка Наукового Товариства ім. Шевченка. Т. LXXVII.—"Зорд", ч. 5—6.—"Літературно науковай Вістинк", VIII.—"Слаїт", чл. 9—13.— "Октаїнізсів Rundschau", МУ 7—8.—"Українскій Візстинка", МУ 9—11.— Хровіка Наукового Товариства ім. Шовченка у Львові". Нап. 1. ІV. Нові впяти.</li> </ul>	165
	150

З причин од редакції незалежних ця книга "Нової Громади" мусила спізнитися і вийти без українського її россійського оглядів.

# Нова Громада.

Літературно-науковий місячник.

№ 8, Серпень 1906.



У КИІВІ, 1906. Друкарня С. А. Борисова, Маложитомирская, № 16.

## Що є в 8-й книзі:

Соломон у спідниці	1
Грінченко Б. Старі пісні. Вірші	<b>26</b>
Капельгородський П. Сільський пролетаріят в Кубанщині.	27
Григоренко Г. Чи по правді? Оповідання	40
Старицький М. Зо мли минулого. Уривки спогадів	60
Черкасенко С. Ніч. Вірші	80
Чернявський М. Хліб наш насушний. Нарис	81
Бондаренко І. Велике повстання англійського народу	83
Доманицький В. Новознайдені поезії Т. Шевченка	102
Брандес Г. Анатоль Франс. Переклала Н. Г	113
• • •	138
Грінченко Б. Іванові Франкові	190
Ярошевський Б. За кордоном.	
Закордонна політика Германії.—Вільгельм II і россійські спра-	
ви.—Німецький імператор і англійський король.—Шахрайства	
в німецькому колоніяльному уряді.—Трансваальська монститу-	
ція.—Останні рахунки бурської війни.—Англійське та фран-	
цузьке громадянство і россійські події. Конституційний рух на сході	140
	140
Бібліографія.	
І. Б. Лепкий. З глубин душі. Б. Лепкий. По дорозі житя.	
І. Б. Лепкий. З глубин душі. Б. Лепкий. По дорозі житя. П. Є.—М. Драгоманов. Розвідки про українську народню сло-	
І. Б. Лепкий. З глубин душі. Б. Лепкий. По дорозі житя. П. Є.—М. Драгоманов. Розвідки про українську народню словесність і письменство. Том III. Б. Грінченка.—Харузин Н.	
І. Б. Лепкий. З глубин душі. Б. Лепкий. По дорозі житя. П. Є.—М. Драгоманов. Розвідки про українську народню словесність і письменство. Том ІІІ. Б. Грінченка.—Харузин Н. Этнографія. Лекціи, читанныя въ Императорскомъ московскомъ	
І. Б. Лепкий. З глубин душі. Б. Лепкий. По дорозі житя. П. Є.—М. Драгоманов. Розвідки про українську народню словесність і письменство. Том ІІІ. Б. Грінченка.—Харузин Н. Этнографія. Лекціи, читанныя въ Императорскомъ московскомъ университетъ. IV. Върованія. Харузина В. Матеріали для биб-	
І. Б. Лепкий. З глубин душі. Б. Лепкий. По дорозі житя. П. Є.—М. Драгоманов. Розвідки про українську народню словесність і письменство. Том ІІІ. Б. Грінченка.—Харузин Н. Этнографія. Лекціи, читанныя въ Императорскомъ московскомъ университетъ. IV. Върованія. Харузина В. Матеріали для библіографіи этнографической литературы. В. Д.	. 155
І. Б. Лепкий. З глубин душі. Б. Лепкий. По дорозі житя. П. Є.—М. Драгоманов. Розвідки про українську народню словесність і письменство. Том ІІІ. Б. Грінченка.—Харузин Н. Этнографія. Лекціи, читанныя въ Императорскомъ московскомъ университетъ. IV. Върованія. Харузина В. Матеріали для библіографіи этнографической литературы. В. Д	155
І. Б. Лепкий. З глубин душі. Б. Лепкий. По дорозі житя. П. Є.—М. Драгоманов. Розвідки про українську народню словесність і письменство. Том ІІІ. Б. Грінченка.—Харузин Н. Этнографія. Лекціи, читанныя въ Императорскомъ московскомъ университетъ. IV. Върованія. Харузина В. Матеріали для библіографіи этнографической литературы. В. Д	155
І. Б. Лепкий. З глубин душі. Б. Лепкий. По дорозі житя. П. Є.—М. Драгоманов. Розвідки про українську народню словесність і письменство. Том ІІІ. Б. Грінченка.—Харузин Н. Этнографія. Лекціи, читанныя въ Императорскомъ московскомъ университетъ ІV. Върованія. Харузина В. Матеріали для библіографіи этнографической литературы. В. Д. ІІ. Українська пресса. ІІІ. Що є по журналах: "Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. Т. LXXVII.—"Зоря", ч. 5—6.—"Літературно-науко-	155
І. Б. Лепкий. З глубин душі. Б. Лепкий. По дорозі житя. П. Є.—М. Драгоманов. Розвідки про українську народню словесність і письменство. Том ІІІ. Б. Грінченка.—Харузин Н. Этнографія. Лекцій, читанныя въ Императорскомъ московскомъ университетъ. IV. Върованія. Харузина В. Матеріали для библіографіи этнографической литературы. В. Д	155
І. Б. Лепкий. З глубин душі. Б. Лепкий. По дорозі житя. П. Є.—М. Драгоманов. Розвідки про українську народню словесність і письменство. Том ІІІ. Б. Грінченка.—Харузин Н. Этнографія. Лекцій, читанныя въ Императорскомъ московскомъ университетъ. ІV. Върованія. Харузина В. Матеріали для библіографіи этнографической литературы. В. Д	155
І. Б. Лепкий. З глубин душі. Б. Лепкий. По дорозі житя. П. Є.—М. Драгоманов. Розвідки про українську народню словесність і письменство. Том ІІІ. Б. Грінченка.—Харузин Н. Этнографія. Лекцій, читанныя въ Императорскомъ московскомъ университетъ. IV. Върованія. Харузина В. Матеріали для библіографіи этнографической литературы. В. Д	155

З причин од редакції незалежних ця книга "Нової Громади" мусила спізнитися і вийти без українського й россійського оглядів.

### БЕЙРУТСЬКІ ОПОВІДАННЯ.

#### II. СОЛОМОНИЦЯ, АБО СОЛОМОН У СПІДНИЦІ.

I.

- Я не знаю, чому то инчі люди так вихваляють сирійську природу!... Чого, приміром, любуються на пальми та на кипариси? І що в них гарного?... Мені аж гидко на них дивитися!
- Ваша правда. Як на мене, то я сто пальм і двісті кипарисів не віддам за одну нашу россійську берізку. Ах! коли ж нам пощастить вернуться знову до Россії!
- I отой уславлений Ліван, що он стирчить перед очима, придивіться, теж нічогісенько не варт!
- І тут—ваша правда. Було колись, ото як я була сюди допіро приїхала, Ліван здавався мені Боже яким гарним! А тепер і він мені поганий!... Хоч, знов, і те правда, що через тутешніх проклятущих арабів не то що Сирія з Ліваном—рай був би споганів, рай був би обрид!... Ах, коли б швидче до Россії!
  - Ах, коли б швидче до Россії!
- Там тепер так любо, так хороше! ноябр... зіма... перший сніг... санки... трійка!
- Ой, не згадуйте, Ганно Михайлівно!... А тут, тепер-о, в ноябрі, аж загинути можна з теї палючої спеки!... Ну, та й катаржна сторінка ота Сирія!
- Ольго Петровно! З усієї бейрутської природи я тільки й люблю, що море.
- А знаєте, Катерино Йванівно, адже ж і я люблю тут самісеньке море!

- Та-а-а-к... Але я люблю море не за красу його, а через те, що знаю, що можна тим морем до нашої Россії заїхати тай покинути цю мерзенну школу, де ми чор' зна чого стирчимо!
- Чи ба, Катерино Йванівно! Тадже ж і я люблю море тілки за те саме!
  - Ія!
  - І я!!...

Отак розмовляли поміж собою п'ятеро паннів, дивлячися з високого балкону на один із найчудовіших крайовидів, який можна побачити на землі. Чотирі споміж них—молодесенькі панночки; а п'ята, котра старша, Катерина Йванівна Міллер—то їхня начальниця, "діректріса". Кожна з тих п'ятьох московок—запнута високим білим хвартушком через плечі, а на грудях, на тому білому хвартушкові, в кожної нашито великого сірого хреста,—щось ніби так, як часом буває в сестер-жалібниць на війні; тільки, що в тих сестрів хрест бува червоний, а в цих дівчат він сірий та й облямовано його широкою голубою каймою-окрайкою. Цей сірий хрест—то знак, що дівчата служать в "Императорскомъ Православномъ Палестинскомъ Обществъ".

Той великий будинок, що на його височеннім балконі вони тепер оце сидять і розмовляють, то арабський православний Бейрутський дівочий Інститут, де вони вчителюють. Це школа не "Палестинскаго Общества". Зветься вона мудровато: "Бакурат ель-ихсен", себто "Первопочатки добродійства". Таке назвище— з того, що в пансіоні є чимало стипендій для бідних дітей. Повуличному звуть того пансіона не так "з-письменська—з-висока", а попросту: "Медресет Лябібе Жяхшен", "Школа Лябіби Жяхшенової", бо начальниця над Інститутом—Лябібе Жяхшен.

Чого ж оті московські панни так ненавидять свою школу "Бакурат ель-ихсен?" І чого вони в ній опинилися? І, коли начальниця над школою є Лябібе Жяхшен, то яким способом Катерина Йванівна Міллєр має бути так само "начальниця?"

Чотирнацять тому год одна православна арабська черниця, ота сама Лябібе Жяхшён, заснувала невеличку початкову, елементарну шкілку за-для малих сиріт. За підмогою православних бейрутських багатирів-"нотаблів", особливо панії Амелії Сюрсок, школа тая розвилася дуже гарно, сильне розрослася. І надумалася православна арабська бейрутська громада—зробити з Лябі-

биної шкілки що-небудь кращеє, ніж те, чим вона була досі. Французька мова в Бейруті дуже потрібна, і за-для неї православні бейрутяни оддавали й оддають своїх дітей звичайно в науку до католиків, до єзуїцьких шкіл; дак от, щоб не вдаватися вже до тих єретиків, православні араби поклали переробити громадським коштом школу Лябіби Жяхшенової на дівочий інститут з путящою наукою французької мови та ще з инчими науками, щоб у тім Інститутові могли вчитися не самі-но бідні сиротята, але й діти багатих батьків, "акебирів", себто "вельмож". Сказано—зроблено. Чисто всі вчительки й учителі—православні, бо навіть для французької мови замість природніх французок запрохано православних грекинь з Марселю, що в них рідна мова не грецька, а французька. Начальницею зісталася Лябібе, бо будь-що-будь це ж її школа, а не чия, а шкільною патронесою зісталася пані Амелія Сюрсочиха.

Лябібе раділа. Та чому б і не радіти, коли од тепер з платпансіонерок ішов їй чималий доходець? Дуже втішалися них й усі бейрутські православні на свою новітню школу. Та накинуло тую школу своїм оком "Жямаййє", себто "Товариство", або сказать---, Императорское Православное Палестинское Общество". Не однаково оповідають усі араби про те, на які способи було взялося "Жямаййє", щоб підступитися до "Бакурат ель-ихсен". Кажуть, що воно шкільній патронесі Амелії Сюрсоковій прислало з Петербургу свого ордена з титулом: "За поміч для православія", і тим орденом прихилило до себе патронесу, --- амбітну, як і всі араби-христіяни. І от вона, 1896 року, дала свою згоду на те, щоб Жямаййє прислало до Інституту скілкись учительок із Московщини, нехай вони дітей навчають доброго церковного співання і географії і аритметики і московської мови, ще й гімнастики. Правду кажучи, нікому з бейрутян не треба було московської мови, дак коли ж Жямаййє дуже й дуже з нею набивалося! А що пані Сюрсок мала в православній бейрутській громаді велику силу, то бейрутська громада мусіла пристати й на московську мову, хоч і з неохотою. Тілки ж "Палестинському Обществу" було цього мало: йому одразу заманулося куди білше! Петербурські орударі Палестинського Товариства, а саме секретар Хитрово та инші обрусителі, як нашукали в Петербурзі четверо вчительок та ще п'яту

найстаршу—Катерину Йванівну Міллєр, то не викрили їм того тахітит'у, на який справді згодилася бейрутська арабська громада. Ні! Вони наділили Катерині Йванівні гучний титул: "начальница Бейрутскаго Православнаго Института для дъвицъ тай заявили всім п'ятьом, що мають вони їхати на Схід із спеціяльною місією: щоб із бейрутського Інституту повиганяти звідусіль французьку мову, а натомість запровадити тамечки скрізь московську, та то ще й так запровадити, щоб геть усі науки йшли мовою московською, а не французькою й арабською, як було досі. Того, — мовляли петербурські орударі, — страх як бажають бейрутські православні араби, бо всі православні на Сході---страшенні русофіли і люблять "щиру православну мову". Бідолашні одурені дівчата, разом із своєю "начальницею", поїхали до Бейруту на свою русіфікаційну місію. Дуже-дуже швидко мали вони з досвіду пізнати, що ані Катерину Йвановну Лябібе Жяхшен і ніхто з арабських учительок та вчителів не хочуть признавати за свою справжню начальницю, ані католицьку французьку та свою арабську мову ніхто споміж них не хоче кидати й міняти на "щиру православну"; що правда, роблять московкам декотрі дрібні відступки і дозволяють порядкувати тілки в дрібницях; ну, правда—звуть m-lle Міллєр "діректрісою", але й ото всього!... Спробували були московські вчительки, пам'ятаючи свій наказ од Палестинського Товариства, хоч трохи викорінювати французьку мову; спробували-коли вже других учительок не можна виперти, то хоч на своїх годинах держатися мови московської, а не французької: це зветься "натуральний" (а правду кажучи-антинатуральний) метод-учити дітей одразу чужою, незрозумілою для них мовою; тоді пішли з того всякі прикрі історії з батьками! Замість давнішої простої неохоти супроти московської мови, з'явилася в бейрутських арабів уже люта ненависть-- і проти московської мови, і проти московських учительок. Може б сами батьки й не дуже були турбувалися про всеньку оцю справу, бо звичайно тутешнім батькам байдуже до якихсь там програм шкільних, --- дак їх раз-ураз нишком підбурювала Лябібе Жяхшен. Вона перед своєю арабською громадою перециганювала не тілки московську науку, ба й усяке слово бідних московок, усякий їх жест, усякий їх учинок і всі звичаї.

Ці всі Лябібині інтриги велися тілки нишком. Бо щоб зовсім вигризти московок із Інституту-цього теж нікому не хтілося; а вже ж самій Лябібі, справжній отій хазяйці над Інститутом, навіть менче б того хотілося, ніж кому. Адже гроші за службу платило московкам Палестинське Товариство, -- не школа "Бакурат ель-ихсен" і не православна бейрутська громада; віщо ж би мали араби відкидатися од іхньої безплатної служби? Для Лябіби, знов, дуже важно було й те, що московські вчительки одбували, кожна по черзі, щоденні дежурства в пансіоні і добре допомагали вдержувати серед пустотливих школярок тишу й лад; бо вони зовсім легко вміли, своєю прихильністю та привітністю, втихомирювати дітей. До того ж вони згодилися як не всі години, то хоч декотрі, а саме географію й аритметику, викладати вченицям не своєю мовою московською, а французькою, дарма що це йшло вже проти того обрусительного наказу, який їм дало було Палестинське Товариство. Цінуючи все оте, Лябіба й инчі арабки не заводили з московськими вчительками останньої рішучої баталії на життя й смерть, а попросту робили їм тисячі дрібних прикростей та підпускали їм тисячі шпильок. І життя бідних, одурених чужинок оберталося через ті тяжкії дрібниці в чистісіньке пекло...

II.

— Катерино Йванівно!—почувся на балконі коло порогу чийсь дівочий голос.—, Чорна" давно вас чогось шукає.

Голос говорив зовсім доброю россійською мовою, тільки з деяким гортанним виголосом. То була молоденька вчителька-арабка, на ймення Мар'ям, вихованиця россійської ш колив Бейт-Жалі; Бейт-Жаля—це палестинське село по-за Єрусалимом, або сказати—саме по-під Віөлеємом. І вона служила в Палестинському Товаристві. Товариство звеліло Мар'ямі приїхати з Бейт-Жалі до Бейруту на те, щоб вона служила для московських учительок за товмача, коли б довелося їм иноді балакати з такими арабами, які зовсім французької мови не тямлять.

Катерина Йванівна спустилася з балкону вниз, в одну світлицю, де знала, що там вона знайде Лябібу, або "Чорну". Чо-

му ж Лябібе зветься "Чорна", і хто її так охрестив? А от чому і хто. Хоч московської мови Лябібе не розуміла ані-же і хоч россіянки могли при ній вільнесенько балакати між собою про що завгодно і між инчим про ню саму—тільки ж вимовляти її ймення "Лябібе" їм не випадало, бо чуючи своє ймення, Лябібе мусіла б знати, що московки говорять своєю чужою мовою не про кого, тілки про неї; а це, знов, було б ніяково. Дак от, щоб не притягати Лябібину увагу своєю балачкою, вони вмовилися звати її "Чорна", а її двоюрідну сестру Фаріду, свіцьку, звати "Біла".

Катерина Йванівна поздоровкалася з "Чорною", бо ще то сьогодні не була бачила. "Чорна" виглядала дуже радісно й трі-умфально. Може, воно здається такечки через те, що сьогодні неділя і що на Лябібі—нова парадна чорна сукня? Ні, не тому. Якась о соблива радість і особлива тріумфальність одпечатувалася на Лябібиному обличі.

— Сьогодні за-для неділеньки чимало батьків поприходило в школу,—солодесенько й ніжнесенько проказала вона через Мар'яму, і можна було впізнати з того лагідно-прихильного і христіянсько-незлобивого тону, що вона встругнула московкам якусь дуже й дуже нелюбу штучку.—Та вони, батьки тії, поприходили не до дітей своїх: вони бажають побачити не кого, як вас, m-lle Міллер. Вже два місяці буде, як роспочався наш учебний рік,—го батькам хочеться тепер про дещо з вами перебалакати.

М-lle Міллєр увійшла до вітального залу. Тут неспокійно стояла юрба одягних арабів, здебілша піджачників, хоч були й старезні халатники, і стояла тут ціла зграя новомодно вбраних і підмальованих арабок; це все були найлуччі Лябібині прихильники й прихильниці. Вони кинулися до московської "діректріси" й оточили її. Було заразом усіх людей із трицятеро, або сказати—й білше. Всі гули, як бджоли в вуліку.

— Ми не розуміємо, не розуміємо тай знов не розуміємо ваших роспорядків, m-lle Міллєр!—гнівно задриботіла по французьки одна з дам,—дама балакуча, укладлива, що, як кажуть араби, "лсена б'арбаа у ашрін фраши",—"язик у неї був на двацять чотирі метелики".—Доки ви були не приїхали, шкільний réglement був у нас такий, що батькам дозволялося навідувати своїх дітей у цім-от пансіоні тільки один раз на місяць, і це бу-

ло саме добре. А ви приїхали—тай дозволили нам приходити що неділі!

- То чого ж ви, бачу, невдоволені?—здивувалася Катерина Йванівна.—Ви мусите радіти тому, тепер вам частіш доводиться бачити свої діти.
  - Мусимо радіти!!!?—загула обурена юрба.
- Радіти?!—іронічно скривилася тая дама, що роспочала розмову.—Добре "радіти"!... Натупається людина коло своєї праці за тиждень, радніша хоч у неділю мати собі спокій, а тут—на тобі!... йди до дітей у пансіон!... Ніколи вже вільної, просвітної годинки нам нема!
- Ваших дорікань і вашого способу думання я навіть розібрати не можу, —одмовила m-lle Міллєр: —в нас, у Россії, кожні батьки дуже радіють, коли пансіонське начальство дозволяє їм частіш бачити своїх дітей. Коли я од тутешньої шкільної ради добилася того, щоб вам можна було заходити до дітей що-тижня, то я думала була, що ви мені ще й подякуєте за те... А в тім... ми ж не силуємо вас ходити сюди що-тижня! Коли кому не хочеться, то нехай не приходить!... або нехай приходить так, як і давніш, —раз на місяць... або й раз на рік!
- Помиляєтеся, панночко! Бо от, скажемо, я,—хоч би й хтіла, то не можу так зробити! Адже коли другі батьки ходитимуть до пансіона, а я не ходитиму, то мої діти плакатимуть і нудитимуться. Нехай нікому не можна буде ходити, то діти сидітимуть спокійно!... А вже ж скільки грошей коштує теє ходіння!!...
  - Грошей?!
- А грошей!... Бо не можна ж прийти до дитини з порожніми руками: треба й гостинця принести, яблучко там, чи винограду, чи пиріжків, цукериків, або чого. То все те—хиба не гроші?... А коли чия хата не близько од школи, а далеченько, то треба ще й звощиком сюди їхати, знов трата!... Отак-от кожен раз і вилетить із кишені цілий межід!... Чи знаєте, добродійко, що через вашу примху ми за рік повинні одтепер аж п'ядесять два межіди за своїх дітей доплачувати!!...
- Ми більше не хочемо, щоб були візіти кожного тижня!... Не хочемо!...—з усіх боків загукали до m-lle Міллєр сердиті

голоси батьків. Хто не знав по-французькому, той миттю догадався, про що йдеться. Такі—загукали по-арабськи:

- Mà мирід! Мà мирід! "Не хочемо!"
- Знов же: не хочемо ми й россійської мови! не хочемо ані трохи!—заверещав з боку якийсь араб.

Хор підхопив:—Не хочемо! зовсім не хочемо! Ма мнрід! ма мнрід абадан!

- Але ж, панове!—спинила їх Катерина Йванівна:—вже ж тої россійської мови зовсім мало в вас зосталося!.. Вже ж тепер я визначила росписання таке, що на россійську мову йде зовсім небагато годин!... Он погляньте: французької мови—буває що-дня аж три годині, а россійської—одна-однісінька годинка. Географію я викладаю по-французьки... аритметику, ба навіть гімнастику—ведуть мої помічниці так само французькою мовою... Подумайте: на нашу россійську мову тратять ваші діти в день одну-однісіньку годину...
- А ми й того вже не хочемо!... Бо на що дітям памороки забивати!... Нехай вчать саму-но французьку!... Ми в Бейруті живемо, а не в Московії!

М-lle Міллєр не знала, що далі й казати. Вона безрадно обвела очима залю. Коло порогу стояла, схрестивши руці, Лябібе, і блаженна христіянська радість вигравала на її лиці. М-lle Міллер круто перервала розмову.

- Добре! Я перебалакаю з m-me Сюрсок, чи не можна вволити вашу волю, та напишу й до секретаря Палестинського Товариства, щоб дозволив мені геть вигнати россійську мову звідси,—сухо вимовила вона, завернулася, покинула залю тай пішла знов на гору, на балкон. Там вона немічно впала, не сіла, на крісло. Та це ще не був край. Бо добряча Лябібе заразісінько зайняла десь Мар'яму тай послала її сказати на-здогін Катерині Йванівні:
- Батьки нахваляються, що всі вони й геть позабірають своїх дітей із школи, коли хто-небудь їх силуватиме вчити московську мову.
- О, Господи!... і чого ми тут стирчимо!—мало не застогнала m-lle Міллєр.—Чи не сором тому, хто нас одурив і вислав сюди на наругу!... Одначе, нічого не вдієш: треба їхати до Сюрсочихи, все росказати, бо далі вже не видержка... Не можна

далі терпіти того, що з нами тут виробляють: треба якось покласти край!... Та за одним ходом перебалакаю і про сирітську справу, бо не можна терпіти, щоб сиротам чинилися кривди, що зараз чиняться.

Прикликали "арабажія", себто погонича, звощика того. По-французьки він не тямив. Мар'ям, вихованиця суворої й "прюдної" бейтжальської школи, засоромилася, коли од Катерини Йванівни звелено їй, дівчині, забалакати до того "чоловіка" і порядитися з ним про ціну. Червоніючи, плутаючись на словах, вона спиталася в арабажія, що він заправить за годину. Домовилися по сім з половиною піястрів. Катерина Йванівна сіла тай поїхала до Сюрсочихи.

#### III.

**М**-те Сюрсок зустріла Катерину Йванівну сухенько. Тая одразу приступила до діла.

- Найперша справа, яку я бажала б полагодити, це—сирітське питання. В нашім Інституті заведено так, що наймичок нема, а всяку чорну роботу одбувають учениці-сироти: вони вслугують своєкоштним дівчатам, вони прятають спальні після них, вони змивають підлогу і таке инче. Своєкоштні не поважають їх, дивляться на них, як на нерівню. Це все—дуже непедагогічно. Треба, щоб у школі всі були рівні,—треба для чорної роботи найняти осібних наймичок, а сиріт—одзволити.
- Щось чудне ви говорите, m-lle Міллер! Яка ж може бути рівність, коли одні за науку й за харч платять *гроші*, а другі нічогісенько не платять?! Ви ж сами знаєте, що сироти й годуються, і вчаться в школі зовсім дурно!—через те елементарна справедливість каже, щоб вони своєю працею одробляли що-небудь,—ну, хоч свою харч... Опроче, не забувайте й того, що, коли б узяти наймичок, то вже ж безплатно наймичкѝ не служили б: треба було б ім заплатити. Виходить, що це—справа грошова. А чи пам'ятаєте ви, m-lle, нашу з вами умову, що ми її з вами були поклали тоді, як ви сюди допіро приїхали? Вашим ділом у школі має бути самісенька педагогія, і порядкувати в школі ви маєте в самісеньких справах педагогічних,— тільки

їх ви й маєте право змінювати на ліпше; а в справи грошові і в економічне життя школи ви не повинні плутатися. Я б дуже вас прохала пам'ятати тую нашу умову й не вимагати ніяких грошових трат.

- Я й не вплутуюсь, я нічого не вимагаю. Я вас тільки прохаю.
- Ні, ні! це річ така, що не можна! Нехай сироти одробляють свій хліб... бо це буде й по правді... та й не роспускаються нехай: не з великих вони панів!... А чи знаєте? я, до речі, маю вам сказати ще й більше: батьки наших учениць дуже не раді з того, що ви сиротам потураєте. Он, казали мені: тієї неділі, як повели ви пансіон до церкви, то ви в церкві поставили сиріт попереду, а тих, що платять, позаду. Це не годиться!
- Сироти—менчі, вони на зріст нижчі; а ті, що платять, ті старші і на зріст вищі. Через те я їх так і поставила в церкві. До того ж, m-те Сюрсок, це діялося не де, як у церкві! Хиба ж і в церкві воно не годиться?... Хиба ж і в церкві не всі рівні?...
- Хоч би й у церкві, то не годиться. Батьки дуже були покривдилися з того, тай приходили до мене, щоб пожалітися.
- Ат! Нехай буде й так!—безнадійно махнула рукою Катерина Йванівна:—цеї неділі постановлю дітей у церкві так, щоб багатим батькам не було кривдно... Ну, а тепер послухайте, що іще кажуть батьки... Це вже мені самій вони казали...

Вона росказала Сюрсочисі про те, як ремствували сьогодні батьки на щотижневі візіти.

- І тут мабуть чи не доведеться вам їхню волю вволити,— заступилася за батьків Сюрсочиха:— тільки, звісне діло, варто було б попереду розвідати, чи справді геть усі батьки невдоволені з частих візітів, чи може... та я цього не думаю... нерада лиш менча половина. А от іще про одну новітню річ, яку тепер заведено в вас, я й зараз можу сказати, що її треба буде скасувати неодмінно. Торік наука велася в школі до половини п'ятої години, а за вашим новітнім роспорядком зроблено теперечки так, що всенька наука кінчається в половині четвертої...— на цілу годину швидче, нїж було торік!... Це не гаразд!
- Але ж, пані Сюрсок!... я ж ані трохи не змінила число годин усеї науки!... Скільки лекцій що-дня було торік, стільки лекцій і позоставалося. Я тільки повкорочувала рекреації, щоб

не були такі безмірно довгі, як давніш. І знаєте за-для чого? Задля тих дітей, що живуть не в пансіоні, а в батьків удома. Тепер діти можуть уже зараньше вертати додому, до своєї сім'ї.

- Ото ж то й зле!
- Зле?!... Торік, через нудно-довгі рекреації, діти трохи чи не цілий день, до самого вечора, без пуття стирчали в школі й одбивалися од сім'ї: батьки, можна сказати, своїх дітей ніколи й не бачили, або бачили їх коло себе тільки трошечки вже ввечері... Натурально, що вони зовсім не могли, як то кажуть, influencer leur éducation (впливати на їхнє виховання)!...
- "Influencer leur éducation"?!—перепитала m-me Сюрсок, наче не вірячи своїм вухам, що почула таку новітню чудасію, яку й збагнути не можна.
- А вже ж! На мою думку, це річ ненормальна, щоб дітям давала виховання й світогляд самісенька школа, самісенькі вчителі!—палко розвивала m-lle Міллєр свої ідеї, засвоєні на петербурських педагогічних курсах; вона, бідолаха, не знала тільки, що m-me Сюрсок стільки розумілася на тій новітній педагогіці, скільки одна пані—на апельсинах (коли казати словами великоруської приказки).—Сім'я так само має своє повне право і свою повинність—виховувать діти в своїм дусі, і ми, педагоги, не сміємо проти того опиратися. Дозволяючи дітям вертати додому раніш, ніж велося досі, я думала була, що батьки раді будуть, коли могтимуть бачити своїх дітей удома коло себе трохи довше, ніж бачили давніш.
- Ну, це не так! Діти, коли вони вдома, а не в школі, то сваряться, б'ються і нещасливим батькам з ними самісенька морока. Може, чули про наше прислів'я: "Ади ль-улед шяна' халю"—"хто схоче дітей розсудити, тому доведеться повіситись"?... А не забувайте й того, що ви дітей пускаєте додому як раз у найскрутнішу пору. Бо це ж у половині четвертої...—правда?— вертають вони тепер до батьків?... ну, але ж ота година, що між половиною четвертої та половиною п'ятої, це—саме такий час, коли матіркам не до дітей. Це— такий час, коли матіркам хочеться трохи проходитися перед обідом, хочеться трохи подйхати чистим повітрям...
- Скажіть краще: "хочеться понамазувати собі обличчя білою й червоною хварбою... хочеться сидіти коло вікон та роз-

глядати перехожих кавалєрів... або похожати по шляху та моргати на них"...—іронічно перебила Катерина Йванівна:—ну, в такім разі воно правда, що під цю годину діти таким матіркам не на руку!

- Ля тадіну уля тöдèну! "Не судіте, да не судимі будете!"... і от, до речі знов, скажу: була мені проти вас іще одна скарга—саме з цього-о приводу. Одна з дівчат прийшла була в школу нарум'янена,—а ви що їй сказали?
- Це Мальвіна Трад. Ій год шіснацятеро. Я їй сказала, щоб вона не сміла цього робити, бо це—погань.
- А вона вдома взяла й росказала про те. Стара Традиха приходила мені жалітися, що ви підбурюєте дітей проти батьків... Ну, та будь-що-будь, вернімося до нашої справи про лекції. До кінця цього півріччя ще нехай держиться той самий роспорядок, що встановили ви, але з нового року доведеться вам ростягти науку до половини п'ятої години...або ще лучче— до п'ятьох!

Катерина Йванівна гіркенько всміхнулася тай одмовила:

- Бачу, що мій голос не важить у школі нічогісенько—і це не тілки в економічних шкільних відносинах... на які я й не претендую... ба не важить він нічого і в педагогічній частині, яку ви полишили ніби то мені. Дивно лиш, на що мене вислало сюди Палестинське Товариство, наказуючи, щоб я була за начальницю!
- І мені самій це дивно!—одрізала пані Сюрсок.—Та ще й дуже дивно! Палестинське Товариство довго набивалося й впрохувалося до нас на поміч, і я нарешті дозволила, щоб Товариство зробило мені поміч: я дозволила прислати сюди россійських учительок, щоб вони були мені помічницями. А тепер Палестинське Товариство бажає не помагати мені, а орудувати мною!...
- Виходить, що Товариство одурило й мене?—навманя спитала Катерина Йванівна, хоч давно вже сама про те могла догадатися.
- Я про те нічого не знаю й не казатиму, —виминаючим, діпломатичним тоном одмовила пані Сюрсок, не бажаючи сказати надто різкого слова. —Додам тільки, що я досі вволяла була вашу волю чималенько! Адже сиріт я зовсім зовсім поли-

шила вам: їх ви вчите тай далі, про мене, вчіть саме так, як хочете і як знаєте... От, не захтіли ви, за наказом од Палестинського Товариства, щоб сироти вчили французьку мову,—ми ж вам не перечили!—сироти французької мови і не вчаться, вони її не знатимуть... вчаться вони самісенької вашої мови!... Але ті вчениці, що за свою науку платять нам гроші,—з тими вже йнакше діло... Ба навіть, як сказати правду, то ви й проти них не маєте чого дуже ремствувати: окрім французької мови мусять же вони всі учити й вашу, хоч напевне не всі їхні батьки того бажають!...

Тут Катерина Йванівна перебила m-me Сюрсочиху й росказала їй про сьогоднішній напад батьків проти россійської мови і про те, що батьки нахваляються позабірати свої діти з пансіону.

M-me Сюрсок переслухала її з цілою увагою. Обличчя їй дуже споважніло.

- В такому разі доведеться дозволити, щоб россійської мови вчилися діти тільки тих батьків, котрі сами того забажають,— сухо вирішила вона.—Про сиріт не кажу: з тими робіть, що хочете... я кажу тільки за своєкоштних... Бо коли ми цього не зробимо, то батьки справді позабірають своїх дітей із школи, і Лябібе не матиме ніякісенького зиску.
- Ні, я ніколи на те не пристану! на цè я не маю права!— рішуче заявила Катерина Йванівна, підводячися з місця, щоб попрощатися.
- Однак доведеться на те пристати!—різко сказала Сюрсочиха.
  - Ніколи в світі!

На тих словах Катерина Йванівна і попрощалася з патронесою.

#### IV.

Як їхала Катерина Йванівна додому, їй сталася пригода, звичайнісінька в Туреччині. "Арабажій" (а вимовляють це слово з наголосом і на a, і на i),—погонич той, що віз її, був віри христіянської. Як повертав він одним вузеньким шляхом на гору,

то він, зовсім не хотячи, якось зачеркнув дишлем мусульманина- "атталя", себто носильника, що ніс був якогось тягаря на спині. Хоч і той атталь, і цей арабажій були однаково араби, або однакової раси, та араба-христіянина зовсім легко роспізнати од араба-мусулманина. Бо в мусулманина видко на обличчю якийсь звіряче-сенсуальний відбиток і якийсь нахабно-сміленький вираз, а христіянські обличчя—інтеллігентні й лагідні. Тим-то атталь одразу впізнав, що з арабажія—христіянин, і страшенно розлютувався, що "гяўр", себто людина безправна, смів дишлем зачепити його, "сейїда", "пана". (Замість слова "мусулманин" вживається в христіянсько-арабській мові слово "сейїд", яке дословую значить—"пан").

Треба признатися, що серед арабської раси, коли казати про ню гуртом, нема релігійної ворожнечі поміж мусулманами та христіянами. Коли не в Бейруті, а де-инде, приміром у Дамаску, то араби-мусулмани й араби-христіяни живуть у дуже добрій лагоді поміж собою, вони захожають в гостину одні до одних, приятелюють і таке инше. Та в Бейруті мусулман мало, а христіян-сила, і вони-здебільша багатирі і за ними стоять європейські консульства, а мусулмани-здебільша харпаки, і ніякі консули за них не дбають. А знов же турецькі араби-христіяни-де їх мало-там вони боязькі, а де їх багацько і де вони чують свою силу, там вони поводяться часом нахабно, Через усе теє бейрутські араби, котрі з бідних мусулман, ненавидять бейрутських арабів-христіян. Знов же й турецьке фанатичне правління роздмухує цю ворожнечу... Так от і цей мусулманин-атталь розлютувавсь на арабажія, вихопив у нього з рук батога, спинив коні тай зачав шмагати погонича по чому попало. Той, побачивши, що ніхто його не одборонить, одразу присмирився, скуливсь і терпляче виждав, доки "сейїд" налупцює його вдосталь. Один разок атталь зачепив пугою й Катерину Йванівну. Вона з перестраху нічого й не казала, тільки мовчала та дихала...

Ну, от арабажій довіз її до школи. Катерина Йванівна подивилася, котра година. Виходило, що тра заплатити арабажієві за одну годину і ще за п'ять минут.

За-для європейців чиста морока—лічити гроші в Сирії. В Сирії, як і в цілій Туреччині, грошова одиниця зветься з-італь-

янська "піястр", або з-німецька "гуруш", себто "гріш". Піястр, або ж гуруш, ділиться на 40 "пара", або, як вимовляють араби, на 40 "бара". Тільки ж те, що зве піястром Сирія, і те, що зве піястром справжня Туреччина, із своєю столицею Царгородом, це не одне й те саме. У турків "піястр"—це вийде наших вісім копійок; і ті монети, які в Царгороді вибиваються, чи--як кажемо ми,-чеканяться, всі пристосовані до цієї норми: от, срібняк, що зветься Царгородським піястром, коштує 8 копійок, срібняк двохпіястровий—коштує 16 копійок, нікелевий десятипарник (або "металік") -- коштує 2 копійки і т. и., і т. и. Тим часом у Сирії кожне місто має свою грошову одиницю не однакову: кожне зве її однаково "піястром", але, приміром, бейрутський піястр - це не те, що піястр дамаський або піястр халябський (чи "алепський"). Тая одиниця, що зветься піястром у Бейруті, виходить по-нашому більше-менше сім копійок, а те, що звуть піястром у Дамаску, виходить по-нашому щось 81/2 копійок. Та, на біду собі, ані Бейрут, ані Дамаск, і ніяке инакше сирійське місто не сміють бити своєї власної монети, яка б відповідала їхнім власним грошовим одиницям: монета в Сирії вживається самісенька тая, яку чеканено в Царгороді... себто, яку чеканено з обрахунком на восьмикопійковий піястр!... Ну, звісно, вживається іще й європейська монета, та тієї менче... І виходить страшенна, невимовна плутанина: араби користуються чужою, царгородською монетою, а лічать гроші таки своїм давнім ліком, і європеєць, доки не звик, може з того ліку аж іскрутитися. Візьмімо великого царгородського срібняка, велику срібну одиницю, що зветься і в Туреччині, і в Сирії "рієль" (il reale), або "межідій" (себто монета султана Абдуль-Меджіда), --- він коштує на наші гроші одного карбованця і шісдесять копійок. В Царгороді, натурально, лічать, що межідій має в собі 20 піястрів; ця цифра 20-кругленька, рівна, дуже зручна для ліку, а заразом-і реально-правдива, бо те, що зветься в Царгороді піястром, буде по нашому 8 копійок. Але от у Бейруті, де мусять користуватися тим самим царгородським межідієм, люди кажуть, що межідій, себто ота велика срібна одиниця, ділиться на 23 піястри, а в Дамаску лічать, що в межідієві єсть 19 піястрів. Оце вже одно само собою буде для європейця мука, бо він звик, щоб його цівілізована велика грошова одиниця ділилася на пар-

не число, а не на 19, або на 23!... Та ще гірша плутанина--з дрібняками. Беручи плату або платячи єдино-вживаною царгородською монетою, --- ну, приміром, однопіястровою, --- бейрутяни кажуть, що вони беруть або дають "одного піястра і 5 бар"; двохпіястрова царгородська монета-це по їхньому "21/4 піястри"; срібна 1/4 межідія — це "5 піястрів — 30 бар"; нікелева царгородська монетка на 1/4 царгородського піястра-це в бейрутян виходить—"1/4 піястра — 21/2 бари". І такою системою одбуваються геть усі грошеві обрахунки! Природні бейрутяни, що звикли до свого консервативного ліку і до не-своїх турецьких монет іще змалечку, не добачають собі в тім ніякої невигоди. Але європейці!... Вони, особливо ж котрі приїхали до Бейруту недавнечно, цю фінансову систему аж кленуть! Вона за-для них тим важча, що ніяких цифр на монетах не вибито, а єсть тільки круті карлючкуваті написи, яких неорієнталісти читати вміють.

Катерина Йванівна роскрила калитку, погортала її, далі висипала купку дрібних грошей на долоню тай безнадійно подивилася на ню. Ій страх важко було розміркувати, котрі монети і скільки монет повинна вона дати арабажієві, щоб заплатити за одну годину з п'ятьма минутами, що вона оце проїздила. Ну, за годину треба заплатити 7½ піястрів, бо така була умова. А за п'ять минут зайвих скільки тра накинути? Щоб арабажій не мав претенсії, вона захтіла дати йому аж 10 піястрів. Такі але ж котрими монетами має вона їх виплатити? That із the question!... "Оце заковика!"—як сказав був котрийсь із ворогів українського письменства, видумуючи, ніби отак стоїть в українському перекладі Шекспірової драми.

Поглядівши з німою нудьгою на грошики, Катерина Йванівна взяла лічити ось як (вона муркотіла московською мовою):

— Оця монета—то три піястри з чимсь. Для лекшого ліку нехай вона буде три піястри рівно... Парочка оцих-о монеток вийде, коли не помиляюся, знов три піястри і скількись бар... —нехай будуть і вони попросту три піястри!... І оце—так само нехай буде три!... А оця монета коштує піястр із чимсь... лічімо її рівно за піястр!... Заразом буде не менче, як десять піястрів.

— Prenez! — дала вона візникові щось аж одинацятеро піястрів, тай, одійшовши од воза, зачала сходити вгору, по високих кам'яних сходах, на шкільний ганок.

Арабажій, ще як Катерина Йванівна була копалася по калитці, одразу був зміркував, що ця "франжійка" нічогісінько на грошах не тямить. До того ж вона й по-арабськи не балакає. Отже ж можна буде, певне, злупити з неї більше. Через те він гнівно гепнув грішми об землю й загорлав до неї якусь дуже довгу арабську промову, з якої Катерина Йванівна второпала однісіньке слово: "аліль", себто "мало". Це слово було їй по знаку.

— Non, non! ce n'est pas "alil"!—обурилася вона. Та арабажій по-французьки не тямив і горлав собі далі на цілий шлях. Тим часом Катерина Йванівна піднялася до найвищої ступеньки сходів і вже мала б ступити на ганок,—аж тут їй наспіло нове лихо: старець.

Арабські старці... о! з них великі майстри свого діла! Цей, що сидів тут, коло порога—як побачив "ситт" (панію), то театрально схопився лівицею за серце, голову меланхолійно відкинув назад, очі поетично втупив у небо і, простягаючи правицю, драматично застогнав:

— Алла йхалліки (Бога ради!), мамзель!... Алла йхалліки!!... А арабажій тим часом репетував на шляху.

Катерина Йванівна, щоб швидче втікти од арабажієвих криків, мерщій поспішала до хати, а через те не завважила на старця. Вона думала була ступнути на поріг,—аж тут раптом губи старцеві затрусилися, на них набігла чи піна, чи слина... хто його зна!...—він заскриготів зубами, заверещав з усієї моці тай упав серед епілептичнихъ конвульсій саме на порозі. Це була його звичайна штука.

Безталанна Катерина Йванівна, повагавшися хвилинку, таки переступила через нього і ввійшла до хати. Вона зайшла до свого покою, де на ню чекали всі вчительки; знеможена, знервована, вона кинулася в крісло тай зачала оповідати про свій візіт до Сюрсокової.

Як стій, двері одчинилися. До покою вперся арабажій і заходився нахабно кричати на ціле горло.

Єсть в арабській мові слово: "рух!" себто "пішов геть!" і єсть слов: "рухи!" себто "пішла геть!" Всі московські вчительки

знали самісіньку форму жіночого роду, тай то вимовляли її мнякенько: "рухі",—а знали самісіньку жіночу форму через те, що їм доводилося мати діло з самими дівчатами.

- Рухі!!! рухі!!!— загукали вони всі п'ятеро разом, побачивщи, до чого доходить арабажійська нахабність. Та арабажій не слухав їх і крикливо домагався свого.
- Боже мій!... Яка безсоромна відвага!...—чулися, россійською мовою, переривчасті голоси обурених дівчат...—Рухі!!!...

Арабажій і не поворухнувся, щоб іти, а навпаки ще гірше загомонів, вимахуючи руками. Тоді Катерина Йванівна, що їй уже терпець увірвався, скипіла. Вона скочила з крісла, тупнула ногою і, забувши з гніву, дѐ вона, в якій стороні й якою мовою тут говорять люди, грізно крикнула:

— "Рухі сейчас, гаварят тебе!!"

Погонич, зроду боязький, як усі христіяни, заразісінько після такої грізної інтонації шугнув за двері.

- На що ви кажете форму жіночого роду: "рухи"?—поправила всіх Мар'ям, як арабажій подавсь геть:—до чоловіків треба казати "рух!"...
- Ох, серце Мар'ям—простогнала Катерина Йванівна:—зроби ласку, не поправляй мене сьогодні в арабській мові... не кажи нічогісінько про арабів,... бо іще одна згадка про той капісний народ—і я вмру!
- Спасибі вам, Катерино Йванівно!—покривдилася Мар'ям: адже ж і я—арабка, то і я капісна?!
- Ні, ні!— засміялася її начальниця:— на мої слова ти не сміеш кривдитись, ти виховалася в россіян, ти—наша...

Мар'ям заспокоїлася. Та коли казати правду, то з неї вже більша таки була россіянка, нїж арабка. А розуміти свою національну арабську честь і шанувати свою арабську народність—її в школі не навчили.

#### ٧.

Зминув іще місяць. Настав грудень (декабрь). "Чорна" підучувала батьків, щоб вони що-тижня, або й частіш, протестували проти московської мови. Знов же й сама "Чорна" що-

дня туркала московським учителькам через Мар'яму, що московської мови ніхто не бажає. І m-me Сюрсок безнастанно домагалася, щоб россійська мова зробилася наукою надобов'язковою,—навіть про педагогіку зачала згадувати, що от, мовляв, навіть із педагогічних законів якось виходить, що московську мову треба дітям кинути. Під "дітьми" розумілися самісінькі ті, що платять гроші; бо що до сиріт, то їм педагогічні закони любісінько дозволяли вчити тую мову.

Катерині Йванівні життя її зачало здаватися все гіршим тай гіршим пеклом. Ії енергія що-раз занепадала. Нарешті вона заявила й Сюрсочисі й Лябібі, що готова порозсилати до всіх батьків листи, де спитається в кожного, чи хоче він чи не хоче россійської мови для своєї дитини.

Незадовго перед Різдвом вона й скомпонувала дипломатичний лист саме з таким запитанням до батьків. Лябібина двоюрідна сестра Феріде, "Біла" ота, охоче переклала того листа з французької мови на добру арабську (бо Мар'ям не вміла писати путящою арабською: не навчили її бейтжальскі обрусителі!). Порозсилали такий лист по всіх батьках... звісно, по тих, котрі за науку платили гроші. Вороги московщини тріюмфували, бо сподівалися, що всі поодкидаються од тієї науки.

Почали в школу сипатися писані одповіді од батьків. Лябібе їх усі позабірала собі тай сказала була Катерині Йванівні дуже солоденько і з великою христіянською добродушністю (вона завсіди виглядала дуже по-христіянськи, коли мала комусь дозолити гаразд), що не дасть їй тих листів, бо однаково ж вони писані мовою арабською, вона попросту їй сама перекаже, котрі споміж батьків заявилися за московською мовою. Вгадуючи тут якісь хитрощі, m-lle Міллєр одмовила, що нехай краще їхня Мар'ям поперекладає їй усе,—бо на що має Лябібе сама турбуватися! Тоді Лябібе, кидаючи свій христіянсько-солодкий тон, просто заявила, що листів не дасть. Катерина Йванівна, набравшися не знати звідки енергії, гримнула:

— А коли не дасте мені листів, то я зараз зателеграфую в Петербург до секретаря Палестинського Товариства. Побачите: він одбере ордена в m-me Сюрсок!

Лябібе, злякана новітнім артументом, заразісінько доручила їй геть усі відповіді.



Цілий день Мар'ям поралася коло їх та перекладала. І от виявилося, що всі батьківські відповіді можна поділити на три купі—всі три більше-менче однакові числом.

Перша купа листів—це те, що повідписували Лябібині приятелі. Одні споміж них увічливо писали, що діти їхні ще дуже малі, і саме через те не спроможні вони вчитися аж двох чужих мов заразом: і французської, й московської; через те вони, "на жаль", мусять зректися мови московської. Іругі споміж них, навпаки, вже різко писали, що россійська мова до нічого не придатна, а через то нема на що мучити нею дітей. А був один батько, що звався він Нимр, себто "тигр". Отаке ймення дано йому змалечку, скоро він народивсь, бо він, як народивсьто показувався дуже слабкого здоров'я; а в арабів є забобон, що коли в кого мруть малі діти, то треба нового нарожденця назвати "лев" (Асад), або "тигр" (Нимр), або "вовк" (Діб): таких іменнів смерть лякаеться й таких немовлят не забере... Дак отаким "тигром", страшним для смерти, був і той Нимр, що його дочка вчилася в Лябібиній школі. Балакав він тонесеньким, задеркуватим, вигукляво-крикливим голоском. І листа до тем Міллер він написав, хоч і лаконичного, та дуже "вигуклявого", а саме: 'Арфад ол-лога ль-москобійє рафдан катаййян": "одкидаюся од московської мови рішучим одкиданням".

Друга группа листів була зовсім инакша: це—ті, що писали їх здебільша москвофіли. Одні споміж тих москвофілів прихилялися до московської мови через свою крайню православну фанатичність, другі—і таких було більше—через те, що вони своїми інтересами близько пов'язані були з Россією: приміром, у Россії вчилися казенним коштом їхні діти або родаки, —чи то в духовних семинаріях та академіях, чи в инших школах. Купець Таразій, саме один з таких батьків, застилізував свого листа демонстративно-москвофільським тоном: "Одповідаючи на Ваш запит, я скажу от що: бажаю я, щоб мої дівчата вчилися мови московської (цю він виписав на найпершому місці) і граматичної мови арабської, а окрім того нехай учать іще й французьку мову". Дехто з батьків подав голос за московську мову навіть не через москвофільство, а попросту через те, що чув од своїх дітей, як сильне б'ються або щипаються вчительки арабські, а россійські-оступаються за дітьми й боронять їх. Такі батьки

справедливо міркували, що, коли їхні дівчата покинуть науку россійської мови, то Катерині Йванівні й її помічницям не буде вже до тих дітей приступу, і зостануться вони без московського людяного догляду.

Всі опрочі листи (а їх зіставалося ще більше, ніж третина)-то були такі, де батьки не хтіли нічогісенько рішати, а здавались цілком на волю Катерині Йванівні. .... Міркуйте сами, .... писали такі батьки, --- бо ви більш од нас тямите, котрої науки треба нашим дітям, а котрої не треба". І скрізь була в них стереотипна фразка: "Ваша гадка-вища за нашу гадку": "Рай-ком ааля мин рай-на". Ельян Шагурі, один з таких батьків, дописавсь навіть он до чого: "Дуже нелюбо вразив мене ваш запит. Хиба з мене вчитель, чи що, що ви мені морочите цим голову?! В ѝ-вчительки, в ѝ і повинні знати науку, а я лиш батько, і наука-не моє діло! Моїх дівчат оддав я вам до школи не на те, щоб ви в мене питалися порад, а на те, щоб ви моїх дівчат учили, як тра. Бо я сподівався, що ви своє діло й без мене тямите!... Так от же вам моє слово: робіть усе, як сами хочете, а мене не питайтесь". А ще один з батьків одписав он-як: ""Про мене! Чи вчитимете мою Асму московської мови, чи не вчитимете, про те мені байдуже: аби вона релігію знала та по-французьки вміла балакати. А от про що дуже благатиму. В дівчини вискочив на руці пухир, чи щось таке, а вона його раз-у-раз роздрапує. Догляньте, на милость, щоб вона того не робила, бо ще, борони Боже, прикинеться огник, або що"...

#### ۷I.

В школах Палестинського Товариства здебільша панує консервативно - реакційний дух. Особливий консерватизм і вчительський террорізм — у школі Бейт-Жальській і в Дамаській. Навпаки Катерина Йванівна, що приїхала в Бейрут з петербурської стоюнінської гімназії, трималася дуже ліберальних поглядів на дитяче виховання й думала, що в дитини є повне право мати свою волю. Через те вона, як перечитала листи, що поперекладала їй Мар'ям, прикликала Лябібу і заявила, що ось, мовляв, єсть чималенько батьків, які пишуть, що нехай вона сама вирішає, чи мають їхні дочки вчитися по-московськи, чи не

мають; тільки ж вона думає, що вона не сміє нічогісенько рішати, а нехай кожна з тих дівчат сама скаже, чи хоче виучувати московську мову, чи не хоче.

Прінципіяльно така думка не дуже була припадала Лябібі до вподоби. Її пересвідчення просто казало їй, що діти не мають права—чого-небудь хотіти або не хотіти, вибірати або не вибірати: вони повинні попросту слухатися старших. Тільки ж цим разом Лябібе не перечила Катерині Йванівні, бо сподівалася, що дітям учитися—ліньки, і що котрих дітей спитають, то ті здебільша одкинуться од московської мови.

На жаль, не сталося так, як вона була сподівалася. Знайшлися дівчата,—котрі лінивіші,—що справді одмовилися од россійської мови; тільки ж більшина того не зробила. Всі вони дуже злюбили гуманних московських учительок, всі вони звикли були шукати в них захисту проти тиранства й своєволі вчительок-арабок, а через те рішуче заявили, що не хтять розлучатися з m-lle Міллер і другими московками тай учитимуться їхньої мови.

Лябібе, будь-що-будь, сумувала не дуже то. В усякім же разі виходило, що трохи чи не половина школярок малася після нового року вже не вчитися по-московськи.

#### VII.

Новий 1897 рік—то була дуже гарна днина. Сонце смалило не сильне, бо подихав легесенький морський вітерець із заходу. Вся природа раділа. Голубе море тихесенько-тихесенько плескалося. Кедри, пальми й кипариси ніжно шелестіли. Темно-зелені апельсинні дерева стояли наче різдвяні гилця, бо геть були вкриті жовтогарячими своїми овощами, і ті овощі ярко виблискували на сонці з-по-за чепурного, ніби навоскованого зеленого листя. Все раділо: раділи дерева, раділа зелена травиця, яку тільки в-зімку й можна побачити в палючій Сирії, раділи верблюди, раділи буйволи, раділи осли й мули, раділи люди.

Батьки тих дівчат, які вчилися в "Бакурат ель-ихсен", теж могли сьогодні радіти чималенько. Різдвяні вакації дано було дітям лиш на один тиждень—од першого дня Різдва до 2 січня, себто ще тільки до взавтрього! Значиться, діти—а вони своїми пустотами вже встигли батькам добре надбриднути за тиждень— узавтра знов вернуть до пансіону: взавтра знов по хатах запанує святий спокій-тиша. А котрі дівчата не живуть у пансіоні, тільки ходять до школи, то ті од узавтрього приходитимуть додому із школи вже не в половині четвертої години, а в п'ять! Дак хиба ж батькам не радіти з того!... І ще одна втіха буде взавтра: котрому з батьків не хочеться московської мови, то од узавтрього його діти вже не вчитимуться її.

Гарна днина!... І природа раділа, і люди раділи.

#### VIII.

2-го січня почалося вчення. Як же ж воно вийшло з мовсковською мовою?

А от як.

Коли в якім класі надходила година россійської мови, то значна частина дівчат,—саме ті, котрі одкинулися од тієї мови,—весело кидали свій клас і, з радісним гуком і галасом, висипали на подвір'я, де й бігали собі цілу тую вільну годину. Ім було втішно, бо геть усі вчительки, чи арабські, чи московські, сиділи тоді по класах разом з другими школярками, що вчилися,— і не могли вони докучно доглядати тих, що на подвір'ю. Ото ж тії літали собі скрізь, як вільні пташки.

Ну, от, на першій отакій годині вільні пташки пообривали геть усі квітки з Ферідиного квітнику. Другої години вільні пташки забралися до порожньої їдальні, витягли із шахви посуд і розбили пару блюд та ще й улюблену Лябібину тарілку. До всього того вони побилися між собою. Асма Фрнейні висмикнула в Аліси Шагурі дві жмені волосся, а Темем Фейяд розбила лоба малій Ессіні Кок.

Лябібе, що зранку була сийла мов зірка ясна, опівдні посумніла, мов чорна нічка. Зранку вона була така весела, така добра, така лагідна, "бтиттекаль миндун милех", "хоч без соли їж"; а тепер разом зробилася "ат'аль мнир-рсас"— "важча од олова". Весь її гумор не знати, де й подівсь.— "Вушьша ма бйидхак лир-ргіф ис-сохн"— "Ії обличчя не було б засміялося навіть на тепленький свіжий хлібець",—сказав би про неї араб словами своєї тутешньої приказки, яку добре зрозуміє кожен, хто жив у сухій, палючій Сирії тай знає, як швидко черствіє тутечки хліб.

#### IX

Того ж дня вона побувала в Сюрсочихи й росказала про всеньку справу.

- От що треба зробити, сказала m-lle Сюрсок подумавши: треба найняти ще одну вчительку або туторку, щоб вона доглядала тих дівчат, котрі московської мови не вчаться й гуляють.
- Воно б нічого, та хто ж їй платитиме?... От, як би Жямаййє!...

Жямаййє—це, як звісно, Імператорське Православне Палестинське Товариство.

- Ну-у-у! цього ніяк зробити не можна буде!—розвела руками Сюрсок.—Для тих, хто не хоче московської мови, Жямаййє напевне не дасть ані піястра... Треба буде платити з доходів шкільних.
- А де ж тії доходи?!—застогнала Лябібе:—ледві-ледві кінці з кінцями стягнеш!... Де вже нам спромогтися ще на одну вчительку!
- В такім разі—і хто його зна, що робити!...—задумливо сказала m-me Сюрсок...—От, хиба—зробити знов россійську мову обов'язковою для всіх?

I їй в голові заманячив новий орден од Палестинського Товариства: "за врятування московської мови".

- Тай я вже так була думала, —тихо одказала Лябібе.
- То доведеться вже прохат и мамзель Катерину, щоб знов згодилося вчити всіх. Тілки ж... чи згодиться тепер вона?... Може, з гордости вже не захоче?...
  - Спробуємо, сказала Лябібе.

#### X.

Увечері того самого 2-го січня 1897 року "Чорна" і "Біла", себто Лябібе й Фаріде, прийшли вдвох до Катерини Йва-

нівни. Лябібе казала, Фаріде перекладала. Вони щиро росказали всю свою біду і прохали m-lle Міллєр зробити знов усе по давньому.

Катерина Йванівна невимовно здивувалася на своєрідну арабську педагогіку, що велить дітям за-для вчительської економії вчити тую науку, яку признано за "шкодливу". Само собою, їй було дуже любо, що одтепер мають учитися московської мови знов геть усі школярки. Тілки ж вона трохи таки вагалася.

- Трохи ніяково буде!—сказала вона.—Я б і радніша, дак батьки ж! Що вони подумають, коли ми по сорок разів на рік мінятимем свої постанови?
- Серце наше, око наше, люба наша мамзель Катерина!— благала Лябібе Фарідиними устами.—На що-що, а на батьків можете в нас не вважать!... Та коли хочете, то я понамовляю геть усіх тих самих батьків, щоб поприходили до вас гуртом і сами попрохали в вас—узяти знову їхніх дітей до вашої науки!...
- Ну, добре!—осміхнулася Катерина Йванівна.—Коли так, то нехай усе буде по давньому. Тілки ж іздається мені, що дехто з батьків розсердиться таки й забере свої дівчата з школи.
- Ні, так воно не станеться, обізвалася Лябібе. Я вже обміркувала всю цюю справу, як слід... Бачу, що чисто всіх батьків легесенько можна буде переконати... тільки один є трохи непевний. В крайнім разі покладімо, що він своїх двох дівочок забере. Та то ж тільки один-однісенький такий.
  - Але ж і то вам утрата!
- Звісно, втрата. Тільки ж розміркуйте сами: коли б я мала найняти іще одну вчительку, то втрата моя була б десять разів більша, ніж коли б оті дві дівчині покинули школу!...
- А знаєте що, m-lle Лябібе?—засміялася Катерина Йванівна.—З вас—премудрий Соломон!... Чи то, пак, ви—премудра Соломониця.

Hi m-lle Лябібе, ані m-lle Фаріде не помітили трошки іронічного тону тієї похвали.

— Соломон—не Соломон, —одказала вдоволена Лябібе, —а таки в голові дещо  $\epsilon$ ... Так зробіть же ласку: візьміть ізнову всіх дітей до своєї науки, —і буде вам од усіх щире спасибі за вашу працю!...

Починаючи з 3-го січня 1897 року, россійська мова знов до якогось часу запанувала в Інституті "Бакурат ель-ихсен" і знов зрівнялася правами з французькою. Давніх суперечок—наче й не бувало. Катерина Йванівна і "Чорна" щиро приятелюють між собою. Іділлія!

А. Кримський.

23 февраля ст. стилю, 1897 року. Бейрут у Сирії.

## СТАРІ ПІСНІ.

Старі пісні! Які тяжкі без міри, Як тужить в їх народняя журба! Немає в їх надії, ані віри На кращі дні в похилого раба.

Є тільки жаль безмірний і могучий, Що процвітать судилося не нам, Є тільки плач безрадісно-болючий За тим ясним утраченим життям.

Коли ж вони, коли ж вони озвуться І дорогі й сподівані пісні— Ті, що від їх серця могуче б'ються, В очах горять нового дня огні?

Ті, що від їх напружуються руки, Хапаючись до праці й боротьби, Радіючи ідуть на смерть і муки І вільними стають раби?

Б. Грінченко.

## Сільський пролетаріят в Кубаньщині.

Селянський рух останніх років звернув на себе увагу всіх частин россійського громадянства, а мійський пролетаріят, що до того часу на власних плечах виносив боротьбу за політичну волю та економічний добробут, щиро привітав його, як відгук на ту боротьбу. Тільки чі, "кому сіе ведать надлежить", завважили були нового грізного ворога, дужого містю класових інтересів, і з своєї бюрократичної високости побачили саму-но "злонамъренную агитацію отдъльныхъ лицъ", як і можна було сподіватись. Нехай і так, - нехай селянство заворушилося найперше через агітацію, проте потоки крови, тисячі на смерть покараних та покалічених, безліч арештованих і висланих в далекий північний край, або й на Сибір-се певна ознака того, що село прокинулось, озброглось свідомістю потреб своїх та інтересів, запалилося бажанням кращої долі, і вже ніякими "карательными отрядами" того руху не прицинити.

Але як придивимось до всероссійських, так званих, "аграрныхъ безпорядковъ" і порівняємо їх до страйку безробітних по хліборобських губерніях та знищення хліборобських машин у південному степовому краї, то побачимо дві неодинакові течії в тому рухові.

В середніх губерніях, наприклад, навіть не може повстати окремого дужого класу сільського пролетаріяту, бо мало не все спролетарізоване селянство вступає в ряди фабричних робітників, в ряди великої промислової армії. Що до найманих робітників у сільському господарстві, то вони по тих краях здебільшого складаються з дрібних хазяїв, які ще держаться мизерного клаптика власного наділу й у найми йдуть майже виключно через малоземелля. Тільки нестатки, голод, чи лихоліття якесь примушують такого "тимчасового" пролетарія шукати заробітку в далекому південному краї, де під час неврожаю в Россії тисячі безробіт-

них лежать по-над залізницею, на пристанях, коло земських "продовольственних пунктів", чекаючи роботи за шматок хліба. Певна річ, і в середніх губерніях є по селах справді спролетарізований люд, який не належить до фабрично-промислового пролетаріяту, але його небагато, та й гуртується він увесь поблизу великих маєтностей.

Коли ж ми говоримо про сільський пролетаріят у сучаснім розумінні сього слова, то розуміємо цілий клас людей, якому й немає другого наймення, який давно істнує, та через несвідомість свою досі ще не бере великої участи в борні з експлуататорами та з урядом, що ведуть мійські пролетарії.

Хто цікавився усіма ріжноманітними відмінами селянського руху за останні роки, той повинен був завважити, що в середніх губерніях він завжде прибірав форми аграрних розрухів, мав характер борні з безземеллям, і на прапорі тамошніх селян в часи заколоту стояв красномовний напис: "землі і волі!" Тим часом у південно-західньому краї рух по селах набірав чисто робітницького характеру й вимагання робітників були подібні до тих, що виставляє в борні з капиталістами фабрично-промисловий пролетаріят. Можна через те думати, що по степових краях, та й на заході, сільські робітники й хазяї давно вже відокремились одні від одних, діференціювались, мовляв звичайним терміном, на два зовсім протилежні класи. Найбільше се помітити можна на Кубані, де через місцеві умови вже з 1868 року почавши, людність поділилася на козаків-хазяїв, або таких же хазяїв-селян, "коренныхъ жителей" і так званих "иногородніх", наймитів-робітників.

В россійській літературі досі не траплялося знаходити анічогісенько про "иногородніх" і навіть наукові, скажу більше, спеціяльно-статистичні досліди з географії та етнографії Кубаньщини, крім місцевих, про них не згадують. А отже ці "иногородні" саме й є та велика сила, що заступає справжні інтереси сільського пролетаріяту, дужого свідомістю класових своїх інтересів.

В 3-тій книжці "Нової Громади" надруковано цікаву, хоч і досить загальну статю д. Білоусенка, в якій автор, рахуючи безземельних селян на підставі досить відомої книжки д. Лохтіна, дає такі цифри. За часів так званої "волі" 1861 року лишилось без землі більше, як 2 мілійони селян, і найвищий процент безземельних було по де-яких українських губерніях; після тії волі на протязі 45 літ економична політика нашого уряду збезземелила щось коло  $20^{\circ}/_{0}$  селянського люду, знов таки на Вкраїні не менше, як по инших губерніях,—проте в більшості українських губерній процент безземельних став нижчий од загально-россійської норми. Автор згаданої статі не зацікавився питанням— де ж поділися ті двораки, миколаєвські салдати та инші люде, яких уряд викинув "на волю" без шматка землі і яких після 1861 року на Україні було найбільше. А тим часом питання се дуже цікаве і почасти відповідь на його дає історія Кубаньщини.

З праць Кавказького статистичного комітету ("Кавказскій временникъ" та инші збірки; "Кубанскій сборникъ", "Кубанскій календарь" 1904 г.), ми бачимо, що з початку 1868 року, коли було дозволено купувати землю по Кубані людям не-військового стану, починається переселенський рух і за 40 років на Кубанські степи перейшло щось коло мілійона селян, переважно з українських губерній. Частина їх поробилась дрібними господарямивласниками, а иншим (миколаєвським салдатам) нарізано наділи, з земель горців, яких примушено тікати в Турцію. Таким способом по Кубані, поміж козачими станицями та гірськими аулами, виросли вкраїнські села, яких набралась на кілька волостей. Але далеко більша частина переселенців, не маючи ні грошей на власну землю, ні права на казенні наділи, оселилась по станицях та по селах під назвою "иногородніх". У казаків тоді наділи дуже великі були, незаймана зроду цілинна земля лічилась сотнями тисяч десятин і наймано її за мизерну плату. Робітників було обмаль, робочі руки були в ціні, і через те козаки охоче приймали в свої станиці иногородніх, давали їм грунти й навіть переманювали їх до себе, бо то ж була дешева робоча сила. Иногородні селилися по станицях, брали в аренду землю, або ж наймалися до козаків та земельних власників за строкових чи поденних робітників, і за короткий час трохи не в кожній станиці, трохи не в кожному селі їх набралося більше, ніж "коренних" мешканців.

"Кубанскій календарь" р. 1904 подає такі відомості: з 2.098.000 усії людности на Кубані 1.162.000 припадає на людей не-військового стану, себто переселенців; з них 541.900 чоловіка, під назвою иногородніх, живуть по селах та станицях у власних хатах, "ос'вдло", а 260,600 не мають ніякої власности і роскидані по всій Кубанській області, де тільки можна знайти якийсь заро-

біток. Коли ми візьмемо на увагу самих тільки перших 540.000, з яких складається ядро сільської пролетарської армії, то й їх досить буде, щоб налякати хліборобів-предприємців, глитаїв-козаків та "хозяйственныхъ мужичковъ". Через те останніми часами вони яко мога почали тиснути иногородніх: збавляють їм поденну плату набавляють "по-саженну" (себто від сажня земля під оселею), посессійну ціну за оселі, і кажучи коротко, всіх заходів уживають, щоб спинити переселенський рух, який що року постачає сюди иногородніх та розносить їх по всіх тих куточках, де їх було ще не так багато. Але, як і треба було сподіватись, такі заходи принесли зовсім небажані хазяям наслідки: вони примусили сільських пролетарів згуртуватися, озброїтися свідомістю спільних своїх інтересів і вийти на борню з експлуататорами.

На жаль, не по всіх станицях та селах иногородні пробувають в однаковому становищі і через те не всі вони разом виступають з своїми вимаганнями, а то ми мали б цікавий зразок могучого сільсько-пролетарського руху, що дуже скидався б на рух фабрично-промислової армії. Не трудно бачити, що стоїть тому на перешкоді, коли взяти на увагу, що в Кубаньщині сільським найманим робітникам доводиться працювати у ріжних дрібних хазяїв на неоднакових умовах. Але й за таких навіть обставин рух можна назвати класовим, свідомим. Де б він не почався, підстави його завжде однакові й вимагання теж—"роботи, справедливої плати і кращого становища в громаді". Коли ж на перешкоді сим вимаганням стає уряд або предприємці-господарі, тоді иногородні беруться до такої могучої зброї, як страйк, і в крайньому разі, навіть перед розрухами не зупиняються.

Тепер звідусюди приходять звістки, що по станицях иногородні зрікаються платити "по-саженну" плату,—треба сказати, дуже велику,—яку вони мусять що-року давати громадам; по деяких селах умовились не ставати на роботу за малу плату, а коло Армавіру, де багато великих маєтків, присилували хазяїв кинути косилки і збірати сіно косарями. Хто не корився вимаганням робітників і вживав хліборобських машин, тому їх розбивали, й навіть кріваві події по тих селах, де поміщики оборонялись, не злякали сільських пролетарів. Вони одно кажуть: "нас сотні тисяч і всі ми з власної праці годуємось. Фабрик тут немає,—ми з діда-прадіда працюємо в сільскому господарстві за найма-

них робітників. Куди ж нам подітись, скоро машини нас заробітку позбавлять? Це питання під час страйку в багатій економії Николенка иногородні поставили навіть атаманові одділу (щось ніби справник по инших місцях), який нічого їм сказати не міг і мусів прохати хазяїв, щоб вони менше косилок уживали. Може дехто скаже, що така перемога сільського пролетаріяту великої ваги не має і, рівняючи до руху мійських робітників, рух селянський зовсім безсилий, але треба зважати, серед яких обставин розвиваються обидва.

В 5-й книжці "Нової Громади" в статі "Наймані робітники в сільському господарстві" д. Піснячевський докладно виясняє, яка есть ріжниця між становищем фабрично-заводських робітників з одного і сільських-з другого боку, і як та ріжниця відбивається на засобах боротьби за свій добробут перших і других. Перші живуть по культурних центрах, до послуг їм стає й література, що їх справи раз-у-раз на оці має, й значна частина інтелігенції, що їхнім життям захоплюється, і та інтернаціональна партія, що організує робітників в одну велику промислову армію, потужну самосвідомістю своєю, озброєну девизом: "всі за одного, один за всіх". Нічого того не знає пролетаріят сільський. Правда, д. Піснячевський малює нам становище тих наймитів, яких педоля виганяє в далекі краї шукати заробітку здебільшого на те, щоб підтримати своє господарство; серед таких робітників і не може навіть повстати виразна свідомість класових своїх інтересів, -проте і справжній сільський пролетарій, напр. иногородній в Кубаньщині, живе не краще за таких наймитів... коли не гірше.

Тай справді! "Тимчасовий" пролетаріят, що поневіряється по наймах ціле літо тільки під час неврожаю у своїй стороні або через малоземелля, хоч удома зазнає, може, кращого життя, бо він має рідні села, рідні хати, рідні церкви та школи, він складається з правомочних у своїх громадах хазяїв. Нічого того не мають наші безщасні земляки—иногородні, ці безправні ілоти Кубанської области. Хати їх здебільшого збудовано на чужій землі, їх рідні села—десь на далекій Україні або Слобожанщині, де на кладовищах спочивають їх батьки та діди; не для них на Кубані сільські громади та станичні "збори", бо вони їм чужі; не для них школи побудовано, бо їх туди не пускають; не для них навіть утіхи релігійного життя, бо ті втіхи иногородньому

коштують дорожче, ніж "коренному" мешканцеві; здається, що не для них навіть шумлива та каламутна Кубань тече,-принаймні торік в с. Успенському старшина хотів зробити приговор, щоб иногородні платили від кожної скотини, яку наповають у Кубані... Ми не знаємо, з яких прав иногородні користуються зате добре знасмо, яких прав їх позбавлено. Не вважаючи на те, що мало не в кожній станиці, або селі, з їх більша половина людности складається, ні на те, що живуть вони на Кубані з давнього-давна, їх, як і перше, мають за чужих нарівні бурлаками-приблудами, їх не приписано до громад, вони не мають права брати участь у сходах, не вибірають свого начальства і т. и. Через те кожен писарь, кожен старшина або отаман знущаеться над иногородніми, вимагає з них хабарів за все, що повинен би дурно робити. Потреби громадського й родинного життя иногородній оплачує своєю важкою працею, своїм потом-крівавицею дуже дорого. Родитись, женитись, помірати йому далеко важче, аніж "коренному" мешканцеві, бо акти хрестин, вінчання та похорону коштують йому більш од звичайної такси.

В де-яких станицях, напр., щоб увести в хрест дитину, иногородній повинен заплатити священикові 1 карб. і 25 коп. грішми, хліб і пляшку горілки, тоді як з козака за те ж саме беруть 50 коп. Навіть поміраючи, иногородній мусить заплатити кількома копійками дорожче, коли схоче дістати "розрішеніє гріхів". Духовні особи давно впевнились, що над иногороднім можна знущатись, не лякаючись кари, бо до громади, що мас силу припинити сваволю і встановити "таксу", або зазмагатись проти високих оплатків за треби-він не належить. Треба знати, що на Кубані взагалі релігійна справа дуже схожа до якоїсь "комерції", і громади частенько "договоряються" з священиками за треби, встановляючи "таксу". В чисту п'ятницю мало не скрізь притвори церковні скидаються більше на крамниці, ніж на "храми". і в них дуже жваво йде торг кращанками та хлібом, що поназносять до плащаниці. Не раз доводилось нам куповати по кілька десятків яець у церкві, бо за пізньою добою крамниці вже позачинені бували. Така постановка релігійної справи вже сама по собі досить виявляє характер відносин духовенства до своїх парафіян, в тому числі й до иногородніх. Але й того ще не досить: вимагаючи з сільських пролетарів, ніби з чужих, більших оплатків за

треби, духовенство не забуває і з них збірати свою "десятину", тоді, як ходить за "новиною". Це-ганебний звичай, який по инших місцях попереводився вже, як де й був, але на Кубані ще в повному розцвіті. Уявіть таку собі картину. В-осени, саме як люде діждуться нового хліба, священик, діякон, дяк, навіть регент, де він є, а то бува, що й писарь волосний, по черзі їдуть селом, викликаючи з кожного двору хазяїв та вимагаючи від них "новини", себто мірку, а то й дві нового хліба. Ні молитви, ні хреста, ні кадила-одним-один ціпок од собак та величезна гарба з порожніми мішками, а то й з кліткою для птиці, бо в-осени ж і птиця нова, то й з неї частина мусить належати духовенству. От тоді вже не минають ні одного двора, і з иногородніх вимагають такої ж мірки пшениці, таку ж качку, або курку, як і з инших, не дивлячись на те, що в них нема власної землі і зайвого хліба чи птиці не буває. Мабуть через такі "оплатки" штундізм і баптізм дуже ширяться між иногородніх і знаходять багато серед їх прихильників, бо сектантство їх коштує далеко дешевше, ніж православіє, — і справді значна частина иногородніх — сектанти.

Ще гірше поставлено в иногородніх другу духовну справу— шкільну науку для дітей. Хоча, як що вірити "Въстнику Восштанія", Кавказький "Учебний округ" веде перед у цій справі, відклижаючись на кожне педагогічне питання (№ 3 р. 1906, стор. 130), проте і на сонці є плями, а Кавказькій шкільній адміністрації до сонця дуже далеко.

Звертаючись до "Отчета Попечителя Кавказск. Учеб. Округа" за 1905 рік, знайдемо, що на самі початкові школи по Кубаньщині казна витрачає 144638 карб., військо—18244 карб., мійські громади—81739 карб., сільські та станичні громади—644190 карб. і добродійні товариства—18146 карбованців. На сі кошти заведено 574 початкових школи, 1660 учителів невпинно працюють коло народньої освіти, 632200 томів шкільних бібліотек вливають знання в темні маси і т. и., і т. и. З показаних цифр можна б усякі приємні комбінації вигадувати, як би нас не зацікавила була одна маленька і непримітна цифра—така маленька, що її автор "Отчета" навіть не посмів виставити серед инших, таких показних, і через те довелось її окремо вишукувати: в довгому реєстрі початкових шкіл можна налічити тільки 21 (двадиять ще й одну!) школу для иногородніх. 21 школа на 540 тисяч народу—чи се ж не глум над

тими сотнями тисяч людей? Нехай і так, що на Кубані мало не в кожній станиці, мало не в кожному селі є школи; нехай вони й обставлені гарно, і бібліотеки та усякі коллекції мають, -- але иногороднім шлях туди заказано, школи та бібліотеки та коллекції не про їх істнують, бо вони не належать до громад, не втрачаються ніби-то на будования шкіл. І от більша частина селян, увесь пролетаріят сільський, не має права посилати дітей до школи навіть за окрему плату, бо громадяне заздалегідь умовляються з учителем, щоб иногородніх не приймав. А начальство, замість того, щоб запомогти їм хоч з тих 144 тисяч, які призначає на початкові школи казна, віддає ті гроші знов таки "коренним" мешканцям "въ пособіе" на поліпшення шкільної справи. Що з того, що 540 тисяч иногородніх мусять задовольнятись двома десятками шкіл? Зате в Кубаньщині в кожному селі є гарна будівля з написом: "Министерское училище", збудована за допомогою від казни, зате з 574 сільських шкіл—113 двохиласові. Є чим вихвалятись в рокових "Отчетах"!...Як що ми від статистичних викладок звернемось до окремих фактів, то знайдемо ту ж виставну діяльність шкільного начальства, яка і в "Отчеті" проступає. В селі Успенському, напр., есть 2-класова школа з 4 вчителями; помешканя воштує 13000 карб., шкільна мебіль 1200 карб., фізічний та хімічний кабінети, картини, препарати, то-що-500 карб., шкільна бібліотека 800 карб., --чому ж інспекторові й не вихвалятись усим тим, коли він сам випрохав успенцям від казни "пособіе" щороку? Але як на увагу взяти, що в селі тільки 4 тисячі громадян, а 5 тисяч иногородніх-пролетарів, які не мають права посилати дітей до тієї школи, бо на всіх вона тісна, то мимоволі жалко стане тих тисяч, що викинуто "на поліпшення шкільної справи". Краще було б витратити їх на другу школу, або й дві, для иногородніх, але... але чим би тоді пан інспектор пиху свою тішив та перед начальством вихвалявся?...

Де ж вчаться діти наших пригноблених спролетарізованих земляків на Кубані? Хто бував по ріжних станицях та селах Кубаньщини й цікавився таким питанням, той певно познайомився з настоящою корпорацією "вчителів" для иногородніх, яка працює по приватних школах. То—колишні дяки, салдати, урядники, писарі, навіть звичайні грамотії років 18—20 "съ домашнимъ образованіємъ", себто такі, що від батьків навчилися читати по ча-

сослову. Чого вчять вони дітей і як учять-вірити трудно. Въ N-рі 91 "Кубанск. Област. В'вдомостей" за 1904 р. був надрукований нарис під назвою "Школы грамоты"—ціла низка малюнків знущання над дітьми иногородніх. В одній "школі", напр., салдат-учитель не мав ні однії книжки, а натомість крейдою на дверях друкарськими буквами по-ряду всю азбуку, примусюючи дітей кричати; a, be, be... і т. и. до кінця, по сто раз на день, поки вони заучували всі літери; тоді "вчитель" "друкував" крейдою склади, потім слова, а учні "складали" і "читали", викрикуючи за вчителем, аж поки привчалися сами розбірати оригінальне писання. Це спосіб, якого вживано тільки по магометанських школах, та й тепер уживають хиба по де-яких закутках Середнеазіяцьких земель. Треба було ще бачити помешкання, в яких сиділи учні-в грязюці, в пітьмі, за такими партами, які навіки можуть скалічити дитину; треба було знати, як вбивають їм "навуку" різками, лінійками, кулаками; треба полічити всі вибиті зуби, надірвані вуха, поламані ребра (в ст. Владимирській), щоб зрозуміти, чого таких безщасних дітей, які вчилися в приватних школах для иногородніх по 2-3 роки, неохоче приймають навіть у церковні школи в першу групу. А вони мусять учитися у своїх учителів-катів, бо 20 початкових шкіл для иногородніх на цілу Кубаньщину-то такий мизерний палліятив, що хиба россійський уряд його міг вигадати, щоб задовольнити жадобу освіти у сільського пролетарія.

Та і взагалі уряд з иногородніми не церемониться. Під час старої "волі" 1861 року їм не дали ані крихотки землі, за часів нової "волі" 1905—6 років їх позбавили навіть тії мизерної участи у виборах послів до Думи, яку уряд відмежував селянам та мійським робітниками. На привелике диво, 800 тисяч пролетаріїв Кубанської области зовсім не мають права вибірати ні десятидворців, ні уповажених, і тільки в де-яких селах старшини з розумніших дозволили їм брати участь у виборах, не дивлячись на циркуляри.

В с. Успенському иногородні були зазмагалися й послали депутатів до атамана одділу, але той, як і треба було сподіватися, сказав, що вони можуть вибірати разом з тими громадами, де приписані; а як вони приписані десь по вкраїнських та середніх губерніях, то й повинні туди їхати... хоч років по 20, по 30 живуть на Кубані!... Щоб усю вагу такої образи зрозуміти, тре-

ба знати, що по селах иногородні живуть не окремими вулидями чи кутками, а сидять на одних ґрунтах, часто навіть в однім дворі з "коренними жителями", і трапляється иноді, що вони— земляки, з одного села поприходили. В с. Успенському, напр, громадяне дістають ґрунти по 25—30 сажень завширшки, а тоді продають маленькі клаптики одному або й двом иногороднім під оселю. Таким чином на одному ґрунті будують свої хати і правомічний хазяїн, і безправні пролетарії-иногородні.

Але годі вже про безправ'я цього пригнобленого класу: за сучасного ладу в россійській державі безправ'я нижчих верств громадянства такою звичайною річчю стало, неначе його сами закони ствердили. Нам лишається відповісти ще на одне найпікавіше, може, питання, — з чого живуть иногородні, чим годуються? Коли ми відкинемо ту невелику частину їх, яка бере в посессію у козаків землю й належить більше до хазяїв-хліборобів, а другу таку ж частину дрібних крамарів та ремісників усяких, як от шевці, кравці, ковалі, майстрі,-то можемо сказати, що иногородні живуть з поденної та строкової роботи по великих і дрібних сільських господарствах. Це власне той сільський пролетаріят, якого можна вважати справді за відокремлений клас: його думи, бажання, мрії знайшли осередок в сільській роботі, а не в самій землі, як у "тимчасового" пролетарія, і хоч иногородні марять про "земельку", але в своїх поглядах на власність не відріжняються від промислових робітників, які теж не від того, щоб самим бути хазяями на фабриках. Збезземелені иногородні з власного досвіду зрозуміли, як сутужно без землі жити, як важко їм боротися з багатими земельними власниками та глитаями, що пильнують селянина під час лихої пригоди. Через те вони мало не всі нахиляються до соціялістичної аграрної програми і за найкращий лад економичний той мають, в якому власником буває сама держава, а не окремі особи. Нам не раз доводилося від иногородніх такі чувати речі: "У наших батьків була і своя земля, і надільна, а як поділилися сини, то все вростіч пішло. Великі господарства зникають, наче їх і не було, а дрібні й поготів". Іх мрії про землю не йдуть далі по-за те, щоб здихатись експлуататорів і працювати коло землі без посередників-предприємців, які з їх праці годуються та ще й утискають їх вельми. З кожним роком роботи все менше стає, а робочих рук прибавляється,

бо тисячі безробітних з середніх губерній що-року прибувають на Кубанські степи, а налякані страйками хазяї заводять дорогі хліборобські машини, які заступають не одну тисячу робітників. З початку 1904 року частіш і частіш доводиться чути про рух меж иногородніми; нарешті сього року він захопив усіх безробітних і виявився цілою низкою страйків, навіть розрухів, особливо в Лабинському відділі по Кубані, де, як вже сказано, з початку 1868 року повстали багаті економії по кідька тисяч десятин. По найближчих до Армавіру селах домагання иногородніх навіть громадяне піддержали гуртом і виставили отсі три пункти: 1) хазяї повинні дати роботу тим, хто з неї виключно живе; а через те вони не повинні хліборобських машин уживати, а обробляти землю та збірати врожай, наймаючи робітників; 3) на баштанах і коло соняшників весною плата щоб була не менша, як 80 коп.—1 карб. поденно, в сінокіс не дешевша, як 26 карбованців за "круг" (31/4 десятини). По селах Іванівці, Кузминці, Вольному та Ново-Михайлівці иногородні так були добре з'організовані, що хазяї мусили піддатися, але на де-яких економіях дійшло до того, що хазялм побито косилки й розігнано робітників; де-не-де вже й покалічені були і дуже можливо, що побачимо незабаром потужний вибух гніву й розпачу сільського пролетаріяту, що був позбавлений роботи. І тепер би, може, до того дійшло, та на щастя пови що спиняє вногородніх їхня самосвідомість, що відвернула біду на якийсь час. В місцевій часописі ("Терекъ", № 85) є цікавий допис під заголовком: "Армія голодныхъ", в якому росповідається про справжній похід безробітних проти експлуататорів, які за своєю вигодою нічого не бачуть і дуже вже покладаються на уряд та на військовий стан. Д. Переяславський, дідич з козаків, наняв був 2000 иногородніх із суміжних сел та зайшлих робітників на два тижні й не поклопотався, щоб їм харчів заготовити. Вимучивши робітників два дні, він сказав, що з його буде й 400, а решта хай шукає собі заробітку, де хоче. Тоді обурені робітники посунули на Армавір, отаборились поблизу й заявили адміністрації, що як вона не полагодить їхню справу, то до них пристане ще 5000 безробітних і гуртом вони розіб'ють і сплюндрують Армавір. Налякані місцеві крамарі зібрали кілька сот карбованців і три дні годували "армію голодних", аж поки адміністрація умовила д. Переяславського, щоб він кожному робітникові за 2

дні дав по 3 карб. Того ж дня атаман одділу впрохав армавірців, які мали косилки та жатки, щоб цього року не наймали своїх машин поміщикам, бо безробітні й без того неспокійні. Цим разом иногородні перемогли і побачили велику вагу одвертої боротьби за свій добробут, але перемога ся нічого не змінила в їхньому становищі—роботи все-таки немає. Готуючись до жнив, вони вимагали, щоб ніхто з хазяїв не вживав жаток-снопов'язалок. Настрій був дуже спокійний, але в йому почувалася така згода, така одностайність, перед якою безсилі й експлуататори з їхніми заходами, й уряд з його "военнымъ положеніемъ"...

Иногородні перемогли й на ділі побачили велике значіння класової борні за власні, а разом і загально-пролетарські інтереси. Хазяї з острахом дожидали жнив, коли завжде найбільший неспокій буває серед сільських найманих робітників, а серед кубанських і поготів-через місцеві умови збірання урожаю здебільшого "скопщиною", себто за сніп. Що можна було сподіватись надзвичайного заколоту, тому свідком було страшенне напруження темної несвідомої маси, яка до руху не пристала й боролась самотужки за поліпшення свого становища. В с. Кузминці, наприклад, настрій голодних несвідомих селян (не вногородніх) призвів до того, що вони повстали були проти зайшлих робітників і побили на смерть та повкидали в воду щось більше, як 10 чоловіка. Сей випадок налякав хазяїв, як страшна пересторога, але разом викликав обурення й серед свідомих сільських пролетарів, примусивши їх єднатися в організації, щоб запобігти таким страшним помелкам, як ота, що про неї була мова. Проте цим разом жнива відбулися спокійно: перш за все переважна частина зайшлих робітників повернула назад, стративши надію на заробіток, і поденна плата зразу ж пішла вгору, але найголовніше-хазяї не зважилися піти проти загального вимагання й не вживали снопов'язалок. В де-яких мастках хліб такий поплутаний був, що мимоволі довелося жатками косити, але й там господарі брали на вагу рух робітничий і снопов'язалок не займали, даючи таким чином зарібок 10-15 чоловікам. Инші, як от Жуков, бажаючи запобігти лихові иногородніх, віддали збірати свій хліб за третій, а де урожай гірший, то й за другий сніп, і цей вчинок робить гарне вражіння, бо звичайно на Кубані косять і в'яжуть за п'ятий та четвертий сніц. Нам осталось зазначити, що сільський

пролетаріят в Кубаньщині почестно вийшов з тої борні, яку роспочав був цього року, через свою самосвідомість. Дужий, невтомний, невпійманий агітатор—голод з'єднав велику армію під одним прапором, викликав загальний рух; події ж державного життя й нартійна праця дали йому зміст. Остання мета проводарів сільських найманих робітників—це втиснути той рух в рями якоїсь програми, щоб дати спроможність не тільки під час жнив боротися з глитаями за свій власний добробут, а й по всяк час обстоювати свої інтереси, вимагаючи загально-людських прав.

Такою більш-менш відповідною програмою - минимум буде програма "Всероссійської Селянської Спілки", і здається, ніколи ще тая "Спілка" не залучала стільки прихильників зпоміж кубанських селян, як тепер. Правда, і в грудні того року цілісенькі села підписувались під партійними постановами і, наприклад, в Лабінській, у Вознесенскій, у Вольному тисячі иногородніх пристали були до "Селянської Спілки", проте мало не цілком через агітацію. Останніми ж часами селяне сами звертаються до місцевих інтелігентних робітників з проханням організувати "Спілку" і тим дивніше, що недавні чорносотенні села, які раніш постачали погромників для Армавіру, ведуть перед, віддаючись самохіть визвольному рухові далеко щиріше, ніж віддавались раніш під впливом агітації рухові "погромному". Тут ми маємо предікавий зразок справжнього народнього морального чуття й політичного виховання, які без сторонньої науки завертають селян з шляху темноти, утисків та знущання на ясний шлях правди і волі.

Пилип Капельгородський.

## ЧИ-ПО ПРАВДІ?

(Що мені десяцький росказував).

Оце, їй Богу, мало не здурів я за цей місяць, почали мене за голову думки, мов ті воші, гризти: хто винен, кому винен, що винен, чи по правді, чи не по правді?...

Попереду як почало воно сунутись—таке чорне, як хмара грозова, і сунеться, й сунеться,—і ззаду, і спереду, і з боків напирає... Боже ти мій милосердний! і звідкіля воно взялося?!... Іще літом, правда, чули ми—то в тій, то в другій економії "забастовка"... Там з чужих сіл нанятих поденних свої попроганяли, там строковим набавлено... а там знов пан аренду збавив... там "руського" побили, та з баштану прогнали... Ну, це байдужки!... Аж ось після Покрови то й завели в одну душу: "та доки це, та чого це?" ревуть ревма чоловіки, стрекочуть жінки, цвірінькають діти... А вчитель наш одно чита газети, одно чита... скрізь, по тих газетах, іде "забастовка", чи то сказать— "бійка"; скрізь бунтуються, скрізь визволяються...

От якась чутка пішла: воля од царя! воля!... Усі вільні,— роби, що хоч; царь мужикам землю оддав, тільки пани ховають "бамагу"...

Після того вже "манихест" чи "бамагу" тую, піп у церкві читав, і знов так виходило, що "царь мужикам землю оддав, а пани ховають"...

Кожне, кожнісеньке, аж тая дитина, що цицьку ссе, так і розібрало, що так воно сталось, а я не розібрав, я цього не чув... я слухав добре, прислухався, аж вуха, як той заяць, наставляв, а цього не чув; чув, що дано усякі вольності, а проземлю не чув, їй Богу, хоч ти мене заріж!...

Після церкви стріваю діда Ахванасія, — там такий, аж зе-млю лиже, як іде, зігнувшися в дугу.

- Ну, що, шамкає, тепер наша—діждалися?! Добре, що й я дожив таки до радости!
  - Що, кажу, де, яка?
- Та ну-бо, здурів, чи що?—розсердився старий, аж ж уся земля нам!
  - Чи тая, що з неба впала, чи тая, що в воду попала?
  - Дурний!—тільки плюнув старий тай пішов.
- Ні, я не дурний, кажу, а мо, чи не глухий, бо всі чули, а я один не чув, що ж це за знак?

Ну, дак чого ж воно так вийшло, що всі чисто чули теє й знають, а я один—того не чув і не знаю?

Жінка моя накинулась на мене, аж з серця торохкотить у неї щось у горлі, як в терниці.

- Мартине, Мартине, що ти мене морочиш? Усі кажуть, усі говорять, мало пучки мої не заговорять, що наша, а ти все товчеш своєї, як зарізаний—"не чув"! Ну, де твої вуха були?
- А я, кажу, й сам не знаю де; треба мені було твоїх позичити, як до церкви йшов манихвеста слухати, то я б тоді, може, ще й більш од людей почув.
- А ну, й не сором тобі із твоїми жартами скрізь?—жінка скипіла (а вона у мене таки, наче яєшня на скороді, гаряченька й жвавенька, хоч вже і припала павутинням сивеньким), а далі аж до плачу:
  - Хиба б же ти не хотів, щоб вона була наша, рідненька?
- Не хотів?... кажу, не хотів?... Еге! чому б не Маруся?— я ще й губами цмокнув: цу!...
  - Ну, то-то ж воно й є!—сказала вона.
  - То-то ж воно й є! сказав і я, тай замовк.

А вчитель усе чита, наче бжола гуде, все чита газети...

Коли з тієї "волі" тай вийшла "неволя"... Почалась бійка... почали жидів бити... Читав на скількось тисячів тих жидів ограбовано, скількось їх побито, покалічено, дівок понищено, дітей посирічено... Люди наші реготались, як почули, що у якогось жида аж 40 відер вина з погребника випито, що босяки-мандри у лавку заходили босі й голі, а виходили в шубах одягнені, "при часах", на звощиках тиждень каталися...

Не люблю я того: яка це воля—розбивати, пити, бити, грабувати? Коли ж якось у гурті теє сказав, то аж затюкали: — Ну, ти вже начальство — звісно! — регочуться, — тобі б усе аби порядок! не любиш "забастовки".

Пішов я собі геть із своїми думками, що як воші, їй Богу, аж осточортіли мені, а не виськаєш їх! Я б наче, думав я, хоч би з золота річка текла не зайняв би... А ні, їй Богу, ні, бо я змалечку такий, здається: на що вже обносять діти по сусідських садках яблука та груші,—так їм сам Бог велів,—а я й одного на своєму віку не зачепив, бо батько у нас були строгі, і не так строгі, як насмішкуваті,—усе було кажуть: "ти його візьмеш, а воно тебе візьме.—Хто? кажу.—"А дідько", сами сміються. Одпаде й охота од крадіжки.

Ну, а справді, як би з золота річка—чи втерпів би?... А хоч би царь, хоч би Бог звелів—я б чужого не заняв... а як би тая річка та серед самого села... потекла... тоді—чорт його знає!... Ну, а в жида можна?... Жид? що воно таке?—Я щитаю так, що жид на жида не схожий: ось як рудий Янкель, що всякого кругом пучки обведе—той мошенник, а як цей бідний Сруль, що семеро у його жиденят—голі, босі, простоволосі... Боже, що там за біда! одну цибулину усі семеро смокчуть! А він, хоч торгує, тільки ніколи не обмане,—я добре приглядавсь і прислухавсь, а в мене й очі, і вуха добрі,—так це як і не жид, наш таки, хоч і другої віри...

А вчитель у газетах вже чита, що почали навіть розбивати, піднявся наш брат... Там економію чисто рознесли, хліб забрали, вивезли, солому спалили... Там жінки проти прикажчика з вильми та граблями пішли... Там пана вигнали, звеліли йому голим на морозі потанцювати...

— А я б його ще й батіжком, батіжком, ого-ого! —реготались наші парубки, а дівки дулі крутили й хотіли комусь під ніс ти-кати: "на тобі, на тобі, стерво!"

Пішла хмара, розстелилась, розляглась, пів неба обгорнула... Регіт, весело навкруги, а наче щось за груди хапає, за серце бере... Не буде добра з того, думаю собі...

Коли це щось до нас, до нашого вчителя, приїхало: молоде дуже, сухеньке, як комарик, чуприна розчухрана, очі маленькі, чорненькі, як вуглики—так і стрибають; куценький шпинжак на йому, червона лента якась на шиї зав'язана, а сорочка аж лу-

потить, так накоцюблена... з усіма ручкається, балачки розводить... Як тільки де гурток, більше з парубків—там і він з учителем наче вродяться; та вчитель наш мовчить сам, вуса кусає, а цеє, мале, і розведе:

— Переповнилась, каже, чаша хрестянства... Усе ваше, каже, беріть усе, тепер можна... Беріть, не бійтесь, ось у мене й бамага така є, щоб брали... після прочитаю... Доки терпіти, доки мовчати? Беріть усе: хліб, тютюн, картоплю... нічого вам за те не буде!—як горохом сипле.

Парубки аж роти пороззявляли—так слухають, та тільки сопуть. А дівок, що служили по економіях, усе, було, присоглашає: "робіть забастовку". Одна й питається: "як же це?" а він каже: "ну, тільки сонце зайде, то й годі робить!" А вона йому: "Корів же хто доїтиме?" а він їй: "нехай сами пани доять". А вона: "а я що робитиму?" а він; "а ти бери, тай спать лягай!" А дівчина йому: "Оце так! було, як корову подою, то ще й гульню на цілу ніч заведу, а коли, тільки сонце зайде, буду спати лягати, то всі боки собі поодлежую,—не хочу!" Зареготалась. А він і собі регочеться і каже: "ото, каже, дурна, наче свята". І раз казав, і два, і три... Коли це я якось слухав, слухав (положим, я до його річей не дуже й прислухавсь: не підходило,—усе ж таки я якесь, хоч і паршиве, началство!)—тай кажу йому:

— "Добре, кажу, у вас, паничу, язик привішаний, та коли б і не обірвався!"

Він аж зблід увесь, затрусився, аж мені його жалько стало: я так собі тільки сказав, а воно й злякалось, і після того разу, бачу, все мене обминає, а днів через три й зовсім счез, як блискавка, і не звісно куди—як у воду впав.

— Де ж це ваш соловейко дівся?—дрочусь було з парубками, дак аж кулаки тулять проти мене: "одчепіться, дядьку!".

Оце раз, пригадую собі, йшов я вулицею вночі, з другого села од тестя вертався. Тихо так, як в усі. Йду собі помалу, цигарку палю, на зорі придивляюсь—страх люблю зорі, це ж янголи з високого неба дивляться... Еге, місяця нема—йду по зорях... Темно... На селі сплять—нічого не чуть, де-не-де по хатах, правда, світиться. Підхожу до школи, дивлюсь—крізь вік-

но видко—довготелесий учитель стоїть, згорнувши на грудях руки, і мовчки слухає, а оцей, чужий, як жабиня, коло його підскакує, руками, як вітряк, махає, червоніє та все щось говорить, доказує... я й притулив ухо до вікна, чую—все кричить він на вчителя: "Хиба так можна із твоїми газетами? Це дуже довго, ждати ніколи! Або тепер, або ніколи! Треба на швидку, щоб одразу скипіло, треба"... Коли це вчитель зирк на вікно! й побачив мене, тай моргнув свому товаришеві, —той же, як узрів мене, то прожогом у другу хату! На другий же день після того і втік зовсім із села...

Ну, добре, втік він, а на селі, як піднялися балачки, Боже ти мій! Кричать усяку нісенітницю: "Не треба нам самодержавця, хай йому,—у нас царь є!" А панів то й катували і милували, а землю всю чисто поділили,—вийшло, що прийдеться по сім десятин на душу.

- Куди ж ви панів дінете?-питаю.
- А к чортовій матері!—одвічає Опанас Бугай, насупивши свої товсті, як п'явки, брови.
  - То ви їх у мандри, чи що, пошлете?
  - К чортовій матері!-знов він мені, насупивши брови.
- А ти чого за панів оступаєшся?—тут як гарикне рудий Макар Чогор.—Гляди-и-и... бо я тобі!—Червоною пикою, що, як пляшка, горілкою скрізь налита, до мене сунеться... А чоловіки усі вже насторожились, кругом мене сторч стоять, наче той ліс густий, мене стережуть і ось-ось би були проковтнули... А я собі не боязький, хоч і плохенький зроду,—а, мо, я і боязький—хто його знає, тільки од жарту ніколи не одступлюся,—кажу: "Давай, кажу, я перше об твою пику цигарку запалю, а послі буду із тобою балакати"...

Усі зареготались, так реготом усе й перейшло.

Тільки все ж таки нажив я собі ворогів на селі: Опанас Бугай усе брови тулить та очі од мене одверта, а Макар Чогор горілкою на мене пашить. Еге, от тобі й наука—не оступайсь за панів!... Та я й не заступаюсь, Бога ради!—Як почав же я думкою кидати, наче на верстаті: човник сюди, човник туди—не виходить наше діло: хоч би ми усіх геть панів у мандри пустили, то й ми не забагатіли б, бо вони того багаті, що їх мало; а як розділити тії землі, що у їх єсть, та на всіх людей, і нам

не стане, бо нас же велика сила! От хоч би у нашого князя, що жид землю в аренді держить, —одна тисяча десятин, а розділи їх на нас, на тисячу душей, що вийде? знов по десятинці, випаде... Ну, мені це було б і нічого, бо у мене три вже є, а Опанасові Бугаєві, що зовсім безземельний, то що з однієї десятини та з дев'ятьма душами у хаті—га?... Бідна ж моя головонька!...

Що за знак: у нас на селі що вечора, аж до півночі по всіх хатах світиться. Йдеш уночі вулицею—по обидва боки, наче низки золотого намиста—віконця із світлом тягнуться... Третю ніч усе світиться; третю ніч спати не лягають: третю ніч радяться, з якого боку почати, кого розбивати...

І сталось воно чудно: бубоніли, бубоніли на вулиці вдень у празничок: "там теє робиться, а там теє." Ну, котра з бабей масла у вогонь підоллє: "а там, я чула, ліс економічеський чисто вирубали, ото ловко!" запищить, і всі баби за нею підхоплять: "буде їм цілу зіму чим топити!" Усі наші сміються, усім весело... Довго так говорилось усе без прикладу; аж ось хтось, і непримітно хто (ніби Опанас Бугай), і бовкнув:

— Ну, а мѝ чого сидимо, чом не рушаємо, чом не починаємо?

І-і-і Боже ти мій, що тут іскоїлось! Наче ото як на весні вода піде... з усіх боків шумить, гуде, реве, греблі рве... Усі обізвались, усі стали судити-рішати: як, з чого, з кого починати, кого більш, кого менш карати?...

Пройшла чутка: за 20 верстов, у Білашах чисто рознесли економію. І пан, і жінка його, й діти—усі повиходили на двір, на коліна ставали, благали, просились, руки мужикам цілували, щоб помилували—не вбивали... Ну, їх не заняли, тільки увесь посуд і що було в домі: книжки, кроваті, столи—усе поламали, побили, порвали; хліб забрали з амбарів, і цілу ніч у панському домі грала музика й танцювала челядь, а пани десь у куточку заховались та мовчки сиділи...

У наших хуторян аж серце заграло од тії звістки, аж очі запалились, аж руки засвербіли: "а ну, й ми так! з чого починать? З жида почнімо, з його економіи. Якого чорта він сидів на аренді шість год, а нам князь не давав? Бий його в одну голову! Скільки він одного тютюну припахав—чотирнадцять деся-

тин,—спалить йому, сукиному сину, сарай з тютюном!... А послі до старої Прончихи, або до панича Біланівського... Ні, ні, в ряд, коли хочте, хлопці, нікого не минем, ого-го!"...

Так судили, так рядили, так усіх перебірали... Крик у кожній хаті прездоровий стояв... Моталися тіні людські по білих стінах, затуляючи світло, наче гори на гори лізли. Снували по селу люди, наче вночі на Великдень, тільки не так мляво та тихенько, а наче на всіх пропасниця напала, що не могли всидіти на місці та сновигали то туди, то сюди. Як же раділи, як реготались, як пригадували собі, що у кого по коморах та по хижах є, щоб можна взяти..., Ти, кажуть до якої-небідь дівки, у панича Бідана в табаці служила, —кажи, що у його є?" "Сало є-е-е, ков\_ баси є-е-е... дарма! там у його, у його хазяйки, стрічок скільки-повна лавка!...-переб'є сама себе дівка,-я знаю, де вона й ховає їх... усі собі заберу!"—,,А мені, а мені? Ач, яка"!—як заведуться дівки лаятись та сперечатись!--,, А мені ні що, як ота музика здорова, наче скриня, -- заберу собі", обізвався дурний Петрусь... — Та як же ти її забереш? вона ж важка, як сто чортів! — дратують його. , А що ж, віжками просто зачеплю, та й коня запряжу. "-Та, може, ще й сам зверху сядеш-поганять? ..... А що ж! "-- Що ж ти з нею робитимещ, із тією музикою? ---, А гратиму, як баришні. "--- Дурний, ти ж не вмієш так грати!—, Овва! "Регіт, аж покотились усі...— "Ні, як би мені, сестрички, отого борошна білого, як крейда, крупищастого, ото б я млинців напекла!"—аж язиком прицмокуе ласа баба Мисиха. А діти з тієї хати, де зібрались, і собі, як реп'яхи, влізли: "там цяцьок скільки! Господи! і ляльки, і бамажки усякі, і пляшечки, і чого, чого там нема, - усе тепер нашому брату буде!"...

Слухав я, слухав усе й наче мене усього проймало, —сказать так, як ось другий раз туман бува застелиться, що ні день, ні ніч, що ні церкви, що в кінці села, не видно, ні лісу далекого, а далі вже й сусідської хати не знать, —усе обгорта, все застила, все насувається ближче, все зверху нагнітає: і не важить а придушує, і не холодно—а трусишся ввесь, увесь мокрий, як у воді побув... Так мені тоді було, —і не те, щоб я за панами побивавсь, і не те, щоб я жахавсь, —а не смішно мені було, не

хотілось реготатись, не хотілось жартувати, хоч я й любив жарти.

Моя стара й собі, було, заведе: "Я таке полотно у барині Прончихи бачила, що як буду там, то непремінно його собі заберу; ні Малашці, ні Василисі (сусідки) й понюхати не дам... ото як би на такому мережку пошити!... тонке, тонке—як бамага, а біле, біле—як сніг... аж до серця прилипа!"

- Ну, а як би хтось із твоєї скрині добро повитягав і собі забрав, то що було 6?—кажу я.
  - Що? Бога ради!—скипіла вона.
  - А ти ж чого на чуже добро рота роззявляєш!
  - То ж панське! тепер можна... Усі...
- Еге, кажу, перше то була крадіжка, а тепер усі злодії, то й нам можна? Добре!

Вона губу накопилила: "Бо'зна, що вигадуєш! Яка то крадіжка? Що у їх було—то все було наше, —ми своє й візьмемо!"

- Ось як! кажу. То й у діда Ахванаса мій вітряк меле, бо у мене вітряка нема, то це, значить, він його забрав,—піду та одберу!
- Який-бо ти чудний! Не добереш діла: то ж чоловік, а то—пан!
- Еге, кажу, добре, що вже ти добрала, тільки, кажу, коли не то що полотно, а хоч один сірничок панський у мене в хаті опиниться, то й тебе вижену з хати, і його слідом за тобою викидаю, так і знай!...

Моя стара аж скам'яніла й нічого не одказала бо ніколи од мене такого голосу не чула; та мені й самому про себе смішно зробилося, тільки я гримнув дверима й пішов...

Знов пройшла чутка: в Білаші козаків прислали,—тільки дарма! Наші вже намірились,—годі того прислухатись. На завтра об'явлено—на жида йти! Дурний Петрусь підпалить первий од краю сарай з табаком, а далі всі почнуть розбивати дім, поприїзжають з підводами, позабирають хліб...

- Хлопці, кажу, як би чого не було!
- А що там! Чого! Скрізь нікому нічого, а ти... не ходи, як боїшся!—загули, чисто море, чисто вітер! Хто його тепер вдержить?...



— А в мене як раз послідній окраєць хліба вийшов, —сказав Опанас Бугай і зареготався. —Діти, як цуцинята, кавчать; ось стійте, не кавчіть —буде і в нас празничок!

Я й подумав: краще б я йому сам хліба дав, нїж... тільки не візьме, бо дуже гордий; жінка то скрізь бере у нас, а він— Бо' храни, як дізнається! А на крадіжку—то гордости нема,— чудне діло!

— Тільки треба й горілки, без горілки ніяк не можна—руки не будуть ходити,—об'явив Макар Чогор. Він ще раніше похвалявся: "я, каже, не тільки бити, я і вбити можу",—і він стуляв і розтуляв свої здорові, червоні од полум'я в кузні (він був коваль), кулаки,—"тільки я... без горілки, як собі хочете, брацця, не можу, ні!"...

Послано його по горілку.

Ну, й проседів я тієї ночі чисто, як старий собака на цепу, їй-Богу! Замкнув двері, сів на лаві, сказав своїй старій й дітям: "я й сам не піду, і вас не пущу",—і наче остовпів.

Стара сюди-туди: "Та як же так? Хиба ти, Мартине, проти людей ідеш, чи що?"

- A хиба щò, кажу, хиба я у їх за поводаря наймався, чи що?
- Ну, Мартиночку, голубчику, ну, пусти ти мене... я хоч одним оком загляну, що там діється? Сама не буду нічого займати, тільки...
- Сказав не пущу—і вже, і нічого мені на дітей моргати… доброму навчаєш—батька не слухати!

Стара трохи збилась, а мені, на їх дивлячись, аж смішно зробилось, та я проковтнув свій сміх, а діти закхикали й поховались одно за одного.

- Та я нічого,—каже знов стара.—Я тільки... Та хиба ж ти хоч, щоб із тебе усі сміялись?
  - Дарма!-кажу.
  - Або, щоб казали, що боїшся, ховаєшся...
- Дарма!—кажу, а сам дверей стережу, щоб котре-небудь не викралось.

На стару злість напала: "Ну, дарма, то я й без тебе піду",—і шасть до дверей.

- А кишш!—кажу, та до полиці.—Тільки ти, кажу, підеш, то я всі чисто горшки попоб'ю, одні черепки зостануться—так і знай!—а сам до дверей і став проти неї.
- Тю, здурів!—плюнула вона й сіла на лаві сама, а я коло дверей стою, цигарку палю, крізь вуса посміхуюсь. Діти штов-хаються, з батька-неньки сміються, тільки словом озиватись бояться. Одна маленька Одарка (сукина дочка—гарненька, як яблучко!) обісмілилась: "Хай тато, мамо, попоб'ють посуд, то я целепками буду глатись, хай попоб'ють—далма!" (мабуть од мене теє "дарма", сукина дочка, переняла)... Коли це старших два хлопці, Иванька та Степанко, школярі (перший то по-первах усе за книжкою сидів, наче його й не кортіло нікуди), як кинуться прожогом до вікна дивитись: "Мамо, мамо, гукають, а дивіться—усе село йде, рушило!" Стара кинулась і собі,—так усі й поприлипали до вікна.

Я собі стою коло дверей, наче й не я. Слухаю, справді торохкотять вози, як на ярмарок. Мої "люди" коло обох віконців бігають, шукають, відкіль краще видно. Одарка з хлопцями сперечається, що вони "такі плездолові, сцо за їми людині ніцого не видко".

Як тільки хто з сусід появлявся на вулиці, зараз мої "люди" справляли крик: "О, о, диви, Іван Куций із жінкою... і малих побрав—Гапку й Хведора; ну, чого вже тих волочить? Ще б Ганну взяли, що цицьку ссе"...

"Еге, думаю собі, голуб'ята, і ви б Татянку, що в колисці, раді були б із собою потягти, як би не я"... Коли це щось пугою по вікну—тарарах, аж усі трохи одскочили од вікон.

— Що там?-кажу, не рушаючи од дверей.

Чую грубий голос Макарів: "А ви ж чого не вибіраєтесь? Де Мартин?"—йому мене не видно було.

Стара моя тремтячим голосом каже:

- Та його вдома нема... він вже там, мабіть...
- Гляди-и-и мені!—гримнув Макар.—Бо спалю! Тільки кого не долічусь—спалю зараз. Тай ви б, кумо, пішли—підживились!
  - Зараз, я-зараз!-наче заспішилась жінка.
    - Макар заторожкотів з возом далі.
- Бачиш, бачиш!—зашепотіла стара, як тільки Макар счез, дивлячись на мене переляканими очима.

- Та дарма ж, кажу, хай краще він підпалює, ніж я піду когось палити.
- У тебе, їй-Богу, серця нема... чисто кам'яний!... готов і свою хату на підпалку віддати, і своїх дітей у мандри пустити, аби тільки по своєму зробити... Бідна моя голівонька, й чого я за тебе заміж ішла? Усі люди казали, усі одсовітували...—жінка почала справді слізьми плакати.
  - Пізно, кажу, голубко, каєшся!...вже не вернеться.

Вона ще дужче у сльози: "бач, бач, який ти пронизуватий, як ніж гострий... Усі люди побігли, усім можна, усі бачуть, усі чують, усі гостинців дітям принесуть... Та хиба у нас і хліба доволі? Ось же до весни не стане, сам знаєш! а тут дурно хліб беруть... Сам же будеш бідкатись, як не вистарчить хліба; дівчачі гроші на хліб переведеш, замість того, щоб скриню їй докладати... Будеш сам із косою горбом заробляти, а потім ще й сусідам будеш роздавати, як у кого не стане,—я тебе знаю, будеш, будеш..."

Сльози часті, як дощ посипались у неї з очей, а я стояв та крізь зуби промовляв: "Еге, буду... ну, буду, буду!"...

Одарка кинулась до матері—її потішати:

— Мамусю, матінько, не плачте, хай вони собі тлавою залостуть, не плачте...

Добре хоч потішила... Коли це як не заверещить Степан: "Тато, пожежа!" Тепер вже й я, і стара кинулись до вікон, і побачили, що жидівська економія палала, і видко навкруги було, як у день, ніч була місячна: зверху наче сріблом сипало, а знизу-червоне золото викидалось, все вище та вище хапало, і в цьому золоті літали наче чорні здорові мухи з позолоченими крильцями і счезали у мить, -- знать, табачний сарай підпалено: табачний лист літає... Ми всі одразу вискочили на двір (я тепер і сам про двері забувся) і стали коло тинка дивитися. Унизу бігали чорні постаті людські; багато їх було, як комашні...чутно було й їх крик, і регіт, і лайку, слів тільки зрідка можна було добрати; доносилось коли-не-коли: "Рубай!... Давай... бери! Одбивай! Ламай. Ще трохи, ще! Ого-го!" Чуть було й тонкий брязкіт розбитого скла, гупання якесь і ржання кіньське, коров'ячий рев-значить, у повітках ревуть-бояться виходити, бідні! Собаки завили на селі... Хмари над пожарищем здавалися темними-претемними і наче швидко тікали відтіль, застилаючи місяць... І що тії люди коють, Боже ти мій правий!...

Жінка забулася вже бігти, стояла коло тинка, та тільки божкала: "Ой, Боже милостивий, ой Господи, коли б село не занял ось, хоч би сюди не повернуло!" А воно не могло кинути на село, бо, слава Богу, вітру не було, то те, що згоріло,—попадало долі—та й вже...

— Ходім у хату,—сказав я й повернувся, щоб іти, коли це оглянувсь, а хлопця, Иваньки, нема. Я Степанка нап'яв мокрим рядном: "Де Іванька? кажи мені зараз?"—Побіг, каже, дивиться на пожарище.—"Як же ти, сукин ти син, його пустив?"—пхнув я Степана в потилицю й попер усіх у хату. Коли це через пів часа прибіг Іванька. "Ну, що, кажу, надивився і за себе, і за матір, і за Степана з Одаркою на чуже нещастя!" Мовчить, голову спустив, як теля, й мовчить... Почали вони знов з вікон дивитися, а я вже й не дивлюсь; чую—Іванька шелестить тай шелестить на вухо то Степанові, то матері, а Одарка усе голосно проказує: "а кловаті заблала Оленка Чудлина... А веленсо... (не може мале вимовити, а должно, що велосимед)—Куций узяв... Ой, лялецько, ковдли, подуськи були, саха... цай... якого багацько було! Талілки... хто, хто, хто?" присікалась допитуваться, аж Іванька розсердився: "чого лізеш?"

Скоро одно за одним почали роз'їздитися з повними возами хуторяне.

Я звелів світло погасити й спать лягати. Полягали, тільки не спали; одна Одарка заснула, а хлопці—то один, то другий схоплювались дивитись у вікно; а стара, сидячи у кутку так, що її не видно було знадвору, теж заглядала у вікно; я сидів коло стола і все палив цигарки, одну за одною... ніколи я так багато їх не скурив... Хлопці перед світом таки покотились обидва; стара сидячи задрімала, а я не спав і не дрімав, цілу ніченьку просидів, цілу ніченьку думки думав... "Ні,—казав я сам до себе,—ти не одкручуйсь, хотів і ти дешевого хліба получити, хотів!... Ну, хотів, то що, дак аже ж не пішов і не взяв... Не взяв?... Не взяв, бо не взяв, бо не взяв! Як же судиш других? А чого ти, сукин син, та жидів не пішов рятувати, як ти такий добрий, га?"—і так без кінця-краю цілісеньку ніч я сам із собою сперечався й балакав про себе.

А на селі, поки треті півні заспівали, все кричали, реготалися, лаялись, співали, їздили...

А на другий день, —Боже ти мій!... Становий летить, земський летить, стражники летять, а козаки—штук з десять, — попереду, як змії...

На селі "по трудах праведних" та по горілці поснули, як забиті... Я не спав, то я раніше всіх побачив їх. "От, подумав я собі, буде каяття, та не буде вороття"... тільки ніяк не міг я добрати діла, як це начальство скоро довідалось, —чи через пожежу дізнались? Аж посля вже почув я, що жидки всі чисто ще перед пожежею повтікали й поскликали усе начальство.

Козаки первим ділом старосту збудили, веліли одвести їм хату, а посля й почали гарцювать на конях по селу... з кінця в кінець... Ну, ції козаки—справді воно щось не людське: як сидить на коні, наче приросте до нього,—здається, пів-людини, пів коня; як гикне, як наскочить... чи то воно коршак, чи дика кішка?... Аж мене щось шпигане, було, кожний раз, як його побачу... А вони ще до мене жартують: "ти, кажуть, наш,—ти теж начальство"...

- Еге, кажу, тільки ви на коні, а я під конем.
- **—** Як то?
- А так, що як верхи летітимете, то й на мене наскочите.
- Ні, не бійсь, ми тебе не займемо, —регочуться. А регочуться, наче тарілка об тарілку стукотить, так здорово...

Ось і пішло у нас "слєдство". Пристав потребував нас, десяцьких, посля й всіх звали, всіх допитували і що, й як, і хто що взяв. Вийшло, що з усього села тільки я та староста (якось одкрутився: пішов, а посля вернувся) "при ділі не були", а то всі чисто об'явились: одні думали поживитись, бо заявлено, що за те нічого не буде; другі пішли з переляку, бо їх гнали, треті пішли просто подивитись на дивовижу... І що я посміявся на тім "допросі" (я ж усе, як десяцький, повинен був у зборні крутитися), коли пристав—дуже він у нас жартовливий, було, яку дівку попаде й присікається до неї: "Еге, голубонько, дак ти так кровать сама й волокла, овва! І ніхто й помочі не дав... бідна дівка, дак сама, кажеш?"

— Та сама ж,—прикриваючись рукавом, похнюпившись і надувши губи, каже тая, а вид у неї, як мак, паленіє. — Так, так, — жартує пристав, — дак це ти хотіла на кроваті поспати, га? на чужій постелі, значить?

Мовчить дівка, як піч.

— То треба ж було вже й подушки побрати жидівські—у їх же багато,—а то що ж так на залізяці спати? Це ти, значить, не вспішилась, еге, а то б?...

Мовчить, як стіна, тільки рукавом затуляється. Пристав усміхається: "а я й не знав, що у нас на селі й дівчата злодій-куваті,—думав, що тільки старі баби такі"...

Коли дівка моя, як не зареве, наче корова, та давай рукавом і очі, й носа витирати... "Ну, йди собі з Богом!" каже пристав.

А смішніше всього було, коли Іван Баран за "велосимед" одвіт держав,—він і сам такий жартун, а тут ще й пристав: "Оце, каже, Іване, узяв ти собі рахубу!... Що б ти із цім "велосимедом" робив? Чи ти б його до коня прив'язував, чи що? Ти ж їздити не вмієш на йому,—і на що таке брати, що не знаєш, як до його приступити?"...

- Еге, еге, ваше благородіє, —наче сорока застрекотав швиденько та нерозбірко Йван, —той чортяка, що мене пхнув його взяти, думав я, повинен був би мене навчити й їздить на йому... бо чорти ж усе вміють. —Пристав сміється: "хиба що так!"
- Та й я, ваше благородіє, тоді гадав так на людей: ви беріть, що хочете, важке,—то вам трудно буде і втікати. А я собі заберу цього коня залізного,—як сів на колесо, ногами замолов тай—шукай вітра в полі! Утічу гень-гень!
  - Тай не втік?—пристав каже.
- Та ось же, ваше благородіє, як бачте, скривившись, проказав Іван.
  - Ну, таскай його сюди, того "коня", коли він тобі не запоміг.
  - Та він, ваше благородіє, вже давно у сінцях тут стоїть... приказу дожидає...

Еге, тільки почули приказ, усі таскали назад, сами таскали все чисто; жито мішками на підводах привозили і ссипали у жидівські амбари, а жидки тільки переважували на здорових терезах.

Чоловіки чухали собі потилиці і все проказували ссипаючи: "як брав мішки, то сам накладав; як назад везти—то й удвох не підніму"...

— Еге, еге, —похіхікували жидки, —було б краще й не брати. А баби плакали й голосили: "а щоб тому, що нас призвів, руки покрутило, губи повигнивали, щоб він святої неділі не діждав, щоб він під вінець не підійшов!"... А хто їх призвів?

Опанас Бугай сидів у себе в хаті цілими днями, обхопивши голову руками, й одно хитався, як гилля од вітру, і не знать що стогнав, і не їв, і не пив, і нічого не чув, і нікого не бачив і не признавав; страшний зробився, як земля—черний; як його ни питала, на що людей підбивав, хто сарай табачний підпалював і чи признає він свою вину сам—а ні слова з уст: так і в острог повезено... А Макар Чогор,—мабуть, його таки добре горілкою налили,—не тільки що не покорився, а все вигукував: "Я їм ще й не так покажу!... трясця-розтрясця їх матері!... Я їм ще й не такої заспіваю... нехай крови хрестьянської не п'ють!... І що мені начальство? На чорта воно мені? Я сам собі голова! "...

Йому пов'язали його узловаті, як дерево, руки й повезли у город... А що мені сміху було з небожем моїм Миколою! Що не навернусь до його в хату після "допросу", то він до мене—аж руки трусяться, білий, як крейда:—Ну, що дядечку, що нам буде? Кажіть швидче! Що там присудили? Ну, кажіть, кажіть...

А я собі помалу: "А хиба я знаю? (Та й справді хиба я знаю?)

- Та ну-бо, дядечку, голубчику, скажіть, не крайте серця,— чи острог, чи що?...
  - Стой же, думаю, я тебе пополякаю.
  - Еге, кажу, острог.
  - I штрах?...
  - І штрах, кажу.
- Ой, бідна ж моя голівонька! Що ж тепер робити?—як заголосить жінка Миколина; діти, розуміється, й собі за матір'ю в сльози... А Микола на мене напався, теж мало не плаче: "Чом же ви мене тоді не здержали, чом тоді, дядечку, не казали мені, що буде?... І не гріх вам?"
- Я ж тобі, кажу, скільки разів казав: "не займай, не їдь"... а ти все: "дарма!" і жінка твоя: "дарма!" Ну, ось і вийшло—дарма.

- Дак ви ж би мене тоді хоч побили б, чи що, а не пустили!...
- Чорта з два тебе б тоді побив,—ти б мене сам тоді ско-
  - Та це жінка! скиглив Микола.

А жінка ж його, тая сама, що виправляла чоловіка, що підбивала його всіма способами, сердилась була на його, що не двічі, а тільки раз успішився по жито поїхати, бо був дуже млявий,—тая сама жінка рвала тепер на собі волосся й тужила:

- Чи піти втопитись? Що мені робити в світі? Стидно мені, стидно! Чи піти завіситись?... Та що з вами, діточками, буде?...
  - Та ви ж жито усе чисто одвезли назад?—питаю.
  - Усе, усе, —каже Микола, —а як же?
  - Ну, то й добре! кажу, та й пішов з хати.

Бачу-серед вулиці два козаки з жінками вовтузяться, --козаки хотіли, щоб Нечипорові невістки, гарні молодиці, самотужки везли назад до жидівської економії тії дрожки, що їх батько відтіль притяг. Молодиці сперечались, а козаки їх злегенька пугами пришпарювали, - тільки по пиці не били, а по заду, по животу, по ногах, зовсім наче кобилиць підхльостували; мабуть, не було жінкам дуже боляче, а скоріше лоскотно, бо вони реготались і разом аж сльози у їх крутились у очах і піт виступав на червоних видах, а проте мусіли позапрягатись і тягти дрожки. Один козак сів за пана, другий за возницю, —обидва реготали так, що кучері їх скакали на всі боки, — і проїхались так аж до воріт вигукуючи: "Но, гніда! но, ворона! От так кобилиці,—на таких і сам царь не їздив!" Після скочили й пішли в хату обідать, бо, казали вони, вже їсти схотілося, поки тут вовтузились... А вже скільки тії козаки живности переїли, Боже ти мій! Не зосталось на селі за три дні ні одного поросяти, ні гуски, ні курки, ні качки, (хиба що котра розумна баба у погребник сховала), їй Богу! І так эловить курку-зараз, як кіт, голову їй круть! і зверне-прямо рукою...І це ж ще тверезі вони були, -- добре, що монопольку замкнули... а то... було б лихо! Правда, жидки горілку крадькома доставляли, тільки не по багато... Еге, їли, пили, гуляли, у файки дулися... за три дні всіх гарних дівчат на селі спортили, — як от бува черва на яблуки нападе, то ні одного яблука не мине... І ще похваляються: "а чи вашим дівкам у-порожні ходить? Хай попоносяться—ще й спасибі скажуть!" Пропади ви пропадом!... Правда, де-котрі з їх були молодці: кучері з-під шапки з червоною стрічкою в'ються, бровами моргне, вусом закрутить—дурні дівчата й умлівають і все: "хі-хі" та "хі-хі", а далі чуєщ,— як заверещить по-за тинками (і просто серед дня) не-своїм голосом: "ой, матінко, рятуйте!"—послі усе втихне... ну, значить, по всьому... Я все, було, маленькими хрестиками під юбкою хрещуся, що моя у городі, у панів служить...

Покіль пішли тії козаки скрізь "слєдство" йшло, усіх подопрошували; усе, що награбували, було поодбиране (хиба того жита не взяли, що перелякані люди, побачивши, що козаки йдуть, у гній на дворі потоптали, -- ото на весні гній той ярітиме!), усе чисто, -- може там кількось десятків пудів борошна та зерна не хватало, що по дорозі порозсипали та птиця попоїла, а то все приставили назад. Перевезли додому за три часи, а з дому возили три дні; ---ну, наконець того жиди свої збитки показали, оцінували у десять тисяч рублів. Тільки не по правді вони зробили, та й не по правді! Аж мені погано у роті зробилося, як я теє почув: показали більш, ніж у їх було. Ось тютюну, кажуть, було у їх аж на тисячу пудів, —коли не може того бути, -- у їх сарай стільки й не влізе; а зерна показали на тисячу пудів більш, ніж привезли люди назад, —як же так? Ну, нехай сто пудів, хай двісті по дорозі розтрусилось, у гній потопталось, так не тисяча ж пудів, бодай вас лиха година побила!... Ти бери, бери-одбірай своє, а на що нащитувати?... Бога не боїшся!... Розуміється, в тебе серце лихе за те, що люди грабували, палили, -- як би тебе були попали, то може б і вбили, та все ж таки... Як же так можна?... А може, там і нашому приставу, жартючому, що перепало, --бо як він усе казав: "Десь вона повинна буть тая тисяча пудів-чи за водою пішла, чи в чуже село перейшла, а треба за неї сплатити, небезпремінно треба!"... От тобі й пристав, а я його любив, що такий веселий та гарний!...

Наші люди то пристали на те, щоб усе сплатити... Та на що б вони тепер з переляку не пристали,—такі стали тихі, та покірливі, та маленькі, як миші у хижі...

Мало й я тоді не вклепався був у біду. Сижу раз у хаті над вечір (ще не дуже й темно було), стара вечерю готує, дитячий гурт у куточку щось шепотить, як жуки, -- Іванька малим щось плете, вони божкають та тискаються круг його. Коли це у мене в очах наче маленька блискавочка перебігла. Іванька в кутку щось дьорнув-воно заблищало... щось сховав з руки за пазуху, подививсь зизом на мене і вмить-на двір. Я за їм, наче кіт. "Покажи, кажу, сукин ти син, що у тебе?" Він хотів на втіки, а я за рукав його придержав: у пазусі у його там щось маленьке намацав, --- хлопець тремтить: "Ій-Богу, тату, їй-Богу"... а що "їй-Богу" й сам не знає. Я витяг щось маленьке золотеньке, кругленьке на цепці, , Микдаль , — не "микдаль", якась цяцька, а для чого-не знаю. Я нічого не спитався більше, як тільки: "ніхто не бачив, крім своїх, ніхто?" і чую сам, що у мене голос якийсь не свій. Бачу, що хлопець злякавсь так-не вимовить слова (мабудь, страшний я був тоді), та все шелестить своє: "їй-Богу, ні... їй-Богу!"—"Геть з моїх очей, кажу я, та не хвалися нікому, бо битиму", прохрипів я. Він счез, а я цяцьку тую у гній і сунув, а далі цілу ніч думки мене гризли: "а як найдуть, а як хватяться?"

Вранці надумався: пішов до пристава, подав йому тую цяцьку й кажу:

- Ось, ваше благородіє, якусь цяцьку я знайшов на дорозі хтось загубив.
  - А чи не в кармані, брат, найшов?—моргає він на мене.
- Ні, кажу, ваше благородіє, не в кармані, бо у мене в кармані дірка, кажу, та ще й карман перед ним вивернув...

Він засміявся: "Ну, йди, йди, каже, з Богом... я тебе знаю". Я усміхнувся та й пішов, наче п'ять пудів з шиї звалив. На тім і скінчилось моє діло...

Ой, що ж вони, тії козаки, наробили, чи який там з їхнього брата сукин син! Вже їм слід було б виходити з села, коли послідньої ночі розгулялись вони, на конях розскакались; скакали через усе село; гикали, кричали; далі у поле, до другого села, там пили (десь горілки дістали), знов гуляли,—а вранці біжить хлопець,—по мене з зборні послали: "слєдство" треба робить, пристав приїхав: "у полі хлопця забито" (виявилось послі—не з нашого, з чужого села). Подались ми туди...

Поле гень-гень, аж до самого неба голе... чорне груддя, тільки снігом притрушене злегенька... Нічого, нікого не видно. Аж он далеко-далеко купка собак зібралася-виють голосно та гризуться межи собою... А вгорі гайвороння ціла чорна хмара в'ється. Під'їзжаєм ми, порозганяли собак, подивились-лежить хлопець... одно тіло, а голова одсторонь одкотилась і слід крівавий тягнеться... Злякався я... злякавсь! Як це так, Боже правий! Уперше в світі довелось побачити таке, що людська голова, наче капустяна, одрубана, окреме лежить... Тіло окреме, а голова окреме!... Аж дух мені занявся, а пристав подивився й каже: "це козацьке діло-шашкою одрубана"... а послі до людей: "Візьміть, яму викопайте та й заховайте!" Побігли за заступами, --- сяк-так тую яму викопали, тіло спустили, а до голови... усяке братись боїться, їй-Богу! (я аж одскочив геть), поки пристав сам ногою у яму не штовхнув її... тай то після обтирав-обтирав чобіт об землю, наче до його щось причепилось таке страшне, що не можна його позбутись... Таке зроблено!... У мене в середині, їй-Богу, наче що обірвалось, чи перевернулось, чи... і сам не знаю... На другий день козаки од нас рушиди. На прощання усім людям звелено на вулицю зібратись, і вони, од'їзжаючи й жартуючи з нами, злегка усіх своїми пугами попогладили по чому попало:--кому вухо пересікли, кому по спині прийшлося, -- прощалися: "Прощайте, скоро побачимось!" (бодай не діждали!) Далі гикнули й уджигнули так, що тільки курява снігова у слід їм устала...

От і розійшлися чорні хмари, тільки сонця не видно...

Посмирнішало у нас на селі, як на кладовищі... А я знов з своїми думками зостався: за що хлопця вбито? І так голова одсторонь, як яблуко, одкотилася, а тіло... все мені ввижається, хоч сплю, хоч не сплю!... І як же так без суду, без ніякого одвіту обійшлося?... Там за крадіжку—у острог, а тут... ну, й жалько мені хлопця, жалько!... А де тієї правди шукати?... У тієї одрізаної голови та очі витріщені, а зуби вищерені, а коло шиї кров, наче червона хустка зав'язана... Дай перехрещуся... І що він їм ізробив? Хиба дорогу п'яному козакові перейшов... Може "здоров" сказав?... І де тієї правди шукати?... Мати його й досі бігає скрізь—збожеволіла—та всіх питає: "де мій Василь? Де Василь?" Зустрів я якось її, вона й до мене: "Де Василь?"

Я перед очима бачу тую окрему голову хлоп'ячу, а од матері тієї просто втік, і не міг я, просто не міг їй в очі глянути... наче цеє дило я зробив, чи що...

Моя стара усе клопочеться (вона усе як тая квочка): "Мартине, Мартине, чого ти схуд, аж очі повитріщались, їй Богу!"

- Е, кажу, як там схуд? То я погладшав!—і почну щоки надимать, наче на сопілку граю. Діти в регіт, та й стара трохи осміхнулась.
- A що очі в мене повитріщались, кажу, то того, що багато бачили...

Ну й гризуть же мене думки, як воші! Ну й голова ж у мене стала, як решето: що треба робити—про все забуваю, тільки наче й є в голові у мене що:—"і де тая правда в світі ділась? Чи її вкрали, чи тільки сховали?"...

Г. Григоренко.

## зо мли минулого.

УРИВКИ СПОГАДІВ.

Коли я силкуюся пірнути гадками у дитинства мого глибінь, то мені уявляються, як марево колишнього сну, дві пригоді. Мов тепер бачу-місячна ніч; я з няньвою, мамою й татом у колясі; вона хитаеться з боку на бік і спускаеться тихо в долину... Коли це рацтом щось як не лусне і повоз швидмо покотився вниз... Мама в крик, а за нею певне й я... пам'ятаю лише, що вона мене схопила і притулила міцно до лоня, а мій батько потягся. вперед помагати возничому здержати коней... Далі якийсь гвалт. брязкіт розбитого шкла—і вриваєтьсь спогад. Потім ще виника з тісі ж доби друга картина: ясний ранок, якась зеленкувата зала, колони й одчинені двері на залитий сонцем рундук... Мене няня веде до нової тьоті віддати добридень; я опинаюся й не звожу очей, а це враз як гляну-аж край дверей на тумбах стоять чорні люде (звичайно статуї)... Я в галас і на втьоки!... Мені вже дорослому росказувано, що справді, коли батьки мої зо мною, що мав тоді два роки, поїхали на одвіднии до тічки моеї, батькової сестри, в Опошню, то коні понесли нас з гори й за малим Богом не сталося нещастя, і що другого дня я у тітки ж перелякався страшенно чорних фігур.

Після отих подій, що врізались мені в пам'ять так зрана, налягає вже на мої спогади якийсь хвилястий туман; крізь його маячать непевними просвітками—то приїзд у блискучім убранні батька з силою забавок, то його золоті з дзвоном дзигари, то лави якихсь верховців, то барабани й курява...

Батько мій, Петро Йванович Старицький, був ротмистром в уланах і перші по одружінні роки служив; ото ж покійній матері й випадало то у своїх батьків сидіти з немовлятком, то їздити з ним до полку, то зоставляти дідуньові й бабуні унука. Бать-

ко мій скоро вийшов в одставку, й помер; але про те річ буде далі.

Спогади мої більше вже систематичні й ясні починаються з шостого року, з села Кліщинець, де пробував я у Лисенків—дідуня й бабуні по матері. У тім пробуванні не пам'ятаю я щось моєї неньки; вона вже з'являється потім: певно, мама проводила тоді час у полку біля тата, а мене лишала у батьків своїх, бувши певна, що вони любленого внука доглянуть.

Мій дід, колишній пан маршалок, Захарій Осипович Лисенко, одержав освіту в першому шляхетському корпусі в столиці, де спочатку й служив ще за Катерини ІІ й Павла, а потім знову ратником за Олександра І й одбув "отечественную" війну. Залишив він зовсім службу полковником і вернувся в рідний край, де й одружився з своєю ж землячкою. У дідів було три дочки—мама моя Настасія і дві тітки мої — Анна й Єлизавета Захаровни та два дядька—Михайло-генерал і Сашко; третього дядька Ілька не пам'ятаю бо він умер до мене. З цієї родини найбільшу в моєму житті мають вагу—дядько Сашко та тітка Ліза, звичайно після матері, яка рано вмерла; але в Кліщинцях тієї ранньої доби я пригадую лиш дідуня й бабуню, вельми вже старих, та вряди-годи молодого ще дядька Сашка.

Скільки уявляється моїй пам'яті, дідуньо був на зріст високий, мав сиве, хвилясте волосся до пліч і завжде був голений; не пам'ятаю щось і усів... Що до обличчя, то воно було суворе, але йому в очах з-під сивих брів, стільки ласки світилося, що зразу, коли подивишся було в них, усе обличчя здавалось щирим та добрим. Ходив дідуньо у довгім каптані, з патерицею, або сидів у великім креселку за книжкою. Для свого часу був він надзвичайно освічений, знав добре французьку мову, зачитувався Вольтером, та й у душі був вольтеріянцем.

Бабуня ж моя заледве грамоту знала й була чистим типом української, старосвітської пані; світоглядом, звичаями, мовою вона мало чим одбивалась од селянської поштивої баби. Ходила бабуня в простім убранні, голову пов'язувала по білому немов би очіпку шовковим платком, і найбільше любила прясти. Мов бачу її за кужелем: виводить довгу, тонесеньку нитку, а веретено спускається на долівку і сюрчить, бігає дзигою. Лице у бабуні було худеньке, у зморшках, але люб'язне й ласкаве, аж світилося.

Услуговувала при домі сама-но жінота: нянька моя Палажка, середнього віку людина, з дочкою Оленкою—старшою за мене літ на п'ять; баба Сірчиха—клюшниця, що наглядала за дівчатами-коберницями й за хатнім господарством, та покойовка Титяна, молода й дуже гарна. А з челяди у пам'ятку—кухарь Петро й Лука ПІвець,—останній найбільше, бо любив рибу вудити й мене до тієї потіхи схилив.

Кліщинський дім був невеликий, мав шість покоїв, передню й двоє сінець. Стояв він на високім підмурку, але був дерев'яний з старим, соломою критим дахом. На гостиннім під'їзді був широченний рундук, на який вели положисті сходи; над рундуком на чотирьох слупах звисав ганок. Двері, обмежені двома вузенькими вікнами, вели в невеличкі сінці, а з них уже другі провадили у світлу "передню". В "передній" було теж двоє дверей: одні-просто в "середню", а другі справа-в "диванну". "Середня" кімната була на три вікна, досить велика, на взірець зали; у їй завжде обідали й вечеряли. В однім кутку її стояли високі, під саму стелю, дзигари з зозулею; перед дзвоном дзигари шипіли й гарчали, а по дзвоні вискакувала зозуля й кувала години. Мебіль у "середній", та й по других покоях, була дерев'яна, лажована: диван, широкі креселка з поруччами та стільці; сидіння були з тканих умисно на те коців. Долівки, двері й лутки в домі були не крашені, а натерті добре олією, яка пройшовши в дерево, додавала йому темноватого, глянцового вигляду. У "середній", та майже й по всіх кімнатах, на вікнах були білі з клинчиками штори, а по долівках-килими, яких у бабуні малось досить. Над диваном шаріли вогнем дві французькі гравюри-Везувій і Етна, а по бокових стінах красувались картини з часів директорії. За "середньою" була "чайна", на два вікна світлиця. Між вікнами блищало кругле в позолоченій фігурній рямі дзеркало; під глухою стіною стояв трохи більший, ніж в "середній", диван з креселками; а над диваном била у вічі велика картина "Миръ Европы": на переднім плані пишалися дві величні фігури царя Олександра I й цариці під руку; по обіруч фігур тислись генерали вже по пояс царям; під ногами у царя кораблі мрілись, а в головах летіло два янголи з довгими сурмами та биндами, на яких написано було: "Слава". Супроти вікон, край дверей, що вели в спочивальню, стояла невеличка шафа з чайним посудом,

а край стіни, суміжньої з "середньою", тулились дві більших шафи з книжками. У кутку біля вікна спиналось високе та глибоже кресло з корельської берези, а над ним красувався портрет Вольтера у білим парику, з книжкою. Над диваном ще, по обидва боки "Мира Европы", висіли вінки з жита й пшениці; не здіймались вони від жнив до жнив. У цій кімнаті завжде пили чай, а часом і снідали. За "чайною" була спальня, або ще звали її й "спочивальнею"; вона вважалась бабуніною кімнатою і все було там до її смаку уладновано. Праворуч од дверей здіймалась велика кахльована груба з довжелезною лежанкою; з кахель визирали сині та червоні чудернацькі квітки. Посеред стелі лежав дубовий сволок; він завжде був завішаний низками в'ялених яблук і білих грибів та мотками пряжі. На лежанці стояли товстопузі сулії з наливкою з виборних ягод, бо ще і в льоху малося чимало з наливками барил. Між вікнами, що дивились на другий бік двору, стояла велика бабуніна шахва, повна варення, шербетів, повідла, пастили, пряників і других ласощів; там же на поличках лежала й свіжа садовина. Та шахва була мені найлюбіша: дух від неї сповняв знадливими пахощами світлицю. Під глухою стіною стояло двое ліжок одороблих, дубових, а все покуття вставлене було богами в срібних та золотих шатах; за образами пишались пучечки васильків та жовтих повних гвоздиків, а перед ними блимала раз-у-раз лямпадка. Другі двері з спочивальні вели в "дівочу", а звідти вже в чорні сіни.

"Диванна" була така ж завбільшки, як і "середня"; по-під усі стіни в ній приладнований був низький зеленим сап'яном оббитий диван; в однім кутку її стояв високий столик з цибухами, а в другім—такий же з мідними ґудзями, на яких висіли сталеві обручики на шнурах, причеплених до середини стелі. На супротивній стіні було вбито кілька гаків і тими обручиками бавилися. Треба було через усю кімнату закидати їх на гаки, щоб нанизалися. Отой покой призначений, видимо, був для забав і для курева, хоча дидуньо з бабунею заживали тільки табаку, але за мене через його од стіни до стіни тягся верстак, на якому дівчата килими ткали. З "диванної" ще була направо хатина,—з початку в її пробував дядько Сашко, коли приїздив на погулянку з Крилова, де він служив у кирасірах, а потім у ній оселилась дядина, вдова по дядьку Ільку, Анна Петровна, з дочкою моїх

літ Анютою. Перше й кімната ота звалась "паничівською" і в її було повно всякої зброї, а потім уже—всяких жіночих оздоб.

Перед домом спереду росло дві тополі й кущі акації; садка при домі не було, а він лежав за селом аж над горою; за тополями та акаціями розлягалось дворище, широке й просторе, заросле геть роменом та щирицею. На-право тулились невеличкі офіцини. в яких містили на ніч гостей, а на-ліво далі стояла велика "двірська". Двір оточений був барканом з штахетними вирізами. Саме проти воріть через вулицю здіймалась трьома банями церква, а ближче, край самої фіртки на цвинтарі, стояла низенька на чотирьох слупах дзвіници. Пізніше й церква була поновлена, покрашена, і дзвіниця збудована нова, а тоді, пам'ятаю, здавалися вони темними, трухлявими, оздобленими мохом зеленим. За барканом по обидва боки розляглось село. З рундука мрілась за селом гора з вітряками і з покрученим узвозом. Гора вривалась над Сулою страшенними кручами, і здаля оті кручі здавались золотисто рожевими скелями, химерно кинутими одна на одну. З тилу за домом, проти вікон спочивальні, спиналась висока, рублена комора з бляшаним півнем на даху, який крутився по вітру, а далі справа горбилась пекарня. Задній двір був менший і обривався кручею зараз за коморою та пекарнею; під нею хвилювало Сулище, протока Сули. З спочивальні, або з кручі видко було на горі за Сулищем якийсь панський будинок, і вся околиця, скільки ока, зеленіла засульними луками, темрилася лугами й синіла сизою млою далеких просторів.

Життя у дідівськім будинку точилось тоді тихе, самотне. З родичів і гостей мало бував хто. Пам'ятаю тільки сусід, тобто галичан з с. Галицького, яке по Сулі вниз лежало версти за дві. В Галицькому сиділи Лисенки, дідуньові родичі в других, і генеральша Магденкова, своячка. Що ж до будинка на Сулищі, який був найближчий до нас і видний був з вікна, то він належав пану Лисянському; але господарь його був далеко й будинок стояв пусткою з зачиненими віконицями; це мене завжде вражало. З далеку наїздив уряди-годи товстелезний пан, лисоватий, чорнявий, з вузенькими чорними вусами, мов п'явками, і з одвислим, пухким підборіддям. Пан той на пальці мав дорогого перстня, а в руці золоту табашницю і говорив стиха, засапавшись. То був теж маршалок золотоноського повіту, пан Ілляшенко, вельми багатий; з

ним дуже панькались, бо він позичав гроші й мало хто не був йому винен. Хатньою мовою була у нас щира вкраїнська: бабуня другої не знала, а дідуньо хоч і закидав по московському, а то й по французькому, але вимушений був через бабуню балакати по нашому, хоч може й не чисто. Мама моя, дядько Сашко й тетя Ліза говорили теж, як бабуня, навіть гості—батюшка й товстий пан Ілляшенко— вживали рідної мови; от тільки генеральша Магденкова та її сім'я говорили вже по московському, бо були литваками: це мені тоді різало вуха й я не розумів генеральської мови, а самої генеральші боявся.

День тоді, принаймні осінній, чи зимовий (певно я в-осени прибув до Кліщинець) сходив у дідів так. Життя починалось у досвіта. Я спав у бабуніній спочивальні, на її ж ліжку, а з ранку перебігав і до дідуня. Бабуня прокидалася ще в досвіта, а дідуньо долежував до світання. Як тільки крізь щілини вікониць свіне було блідий іще промінь, старий вже кличе бабу Сірчиху, або мою няньку Палажку, щоб одчинила вікониці, і зараз же їх роспитує про погоду.

- А що на дворі робиться?
- Нічого, —відповіда лаконічно баба.
- Как нічого? А дощу нема?
- Моросило немов у ночі.
- А хмарно, чи сояшно?
- Над Матвіївкою ще стоїть хмара, а над Галицьким уже вітер розвіяв.
  - Видиш-вітер є, а ти кажеш-нічого!
  - Та вітер здоровий.
  - А звідкіль?
  - Хто його зна, немов звідти й звідти...
- A, безтолкова, досадував дідуньо, да ти ж дивилась на комору, куда півень головою?
  - До Лисянського.
    - Ну, значить, звідтіль і вітер, і певно холодний?
    - Аж зашпори заходють.
- Ну, бач, виходить—вітер московський, чого доброго й сніг принесе... Гм... гм... Нада позвать діда Остапа, щоб омшаник опорядив на зиму, а то бжола змерзне.

Такі довідки метеорологічні дідуньо завжде робив зранку і на них фундував роспорядки. Проте він не дуже то в хазяйстві копався, не часто зазирав навіть у поле, покладаючись пілком на атамана Дмитра Супоню. Останній взагалі не дуже то вважав на панські накази. Правда, й дідуньові накази були здебільша химерні: то бувало одмінить оранку, чи сійбу, спіраючись на метеорологічні вйсліди баби Сірчихи; то загада греблю гатити в жнива, прочитавши в Бердичівському календарі, що серпень має бути дощовий; то забажа сіяти самі коноплі та сояшники, бо генеральша ставить якусь чудернацьку олійницю; то перелічить на протязі квадратового локтя колоски й зерна і на тім зважує цілий добуток, та й продає його Гершкові. Так ото ж, кажу, що ділуньо до хліборобства мало впадав, а кохався в садку й пасіці; проте що-дня до його приходили і Дмитро, й Гершко, і що-ранку він турбовався про погоду.

Бабуня так обережно вставала, що я ніколи й не чув; вона ще вкривала мене тихесенько ліжником, або ще чим-небудь, щоб дитині було тепло й затишно, і я, заритий у пуховики, вилежувавсь, на більшім просторі роскошуючи. Тільки при дідуньовій розмові вже прокидався, бо голос у його був досить гучний.

Почувши його, бабуня накидалася:

- Захарій Осипович, не гомоніть бо так дуже: дитину розбуркаєте, а воно б ще спало та й спало.
- Ти його, Настенько, збалуєш ні на що,—гримне було благодушно старий.—Йому не бабою бить, а генералом, как його дядько Михайло... От і Суворов вставав до сонця і кричав "кукуріку"!
- Та годі бо!—пробувала спинити жарти бабуня; але я вже прокидався й сам кричав:—кукуріку!
- Вот і молодец!—сміявся дідуньо.—Ну,—затягав він рипучим голосом: "Frere et Iane, Levez vous!" А я зараз же під-хоплював пискливо: "Sone la matinè, sone la matinè, bim, bam, bom!"

Бабуня тільки махала рукою й виходила, буркочучи, з хати, а я перелазив через бильце мерщій до дідуня.

- А я Суворов?—лащився я.
- Будеш, коли вчитимешся.
- А може краще Фрідріхом Великим?—вагався я в виборі.

Мені ці герої були вже зтроха знайомі. У дідуня в бібліотеці мались роскішні іллюстровані видання, й дідуньо мені часто, щоб заохотити до книжки, показував їх і поясняв малюнки, які взагалі мене дуже тішили, а найбільше вояцькі побоїща. Ото ж дві товсті книжки—життєписи Суворова та Фридриха Великого, мені були найлюбіші.

- А,—термосив мене дідуньо,—а не хочеш бути Жан-Жаком Руссо, чи Вольтером, га? Тобі до смаку боєвиє герої? Прочитай обидві книжки та й вибери. Прочитай!
- Там по гражданському букви,—запинався я,—от у часослові гаркі, великі.
  - Так ти не вмієш?... Гай, гай! дратував дідуньо.
- Я вже склади всі знаю: буки-аз—ба, віди-аз—ва, доброаз—да... і потрійні: віди-рци-аз—вра, добро-люде-аз—дла, твердоживіте-ук—тжу... і разом хутко: ба, ва, га, да, па, ра, са, та... А дячок говорить, що треба ще й слово-титли знать!...

У Кліщинцях почав я у дячка грамоти вчитись, а потім у Лебихівці був уже навчителем у мене бурсак.

- А вже ж: без титлів нельзя церковних книг разобрать, а вот ти швидче учись, то й апостола прочитаєш,—заохочував дідуньо.
- Та!... Я швидко прочитаю... От і Суворов читав... а Фридрих ні... Чого Фридрих не читав? Йому не давали, дідуню?
- Гм, усміхнеться старий. Фридриху було некогда, а то читав би радніше.
  - Чого ж некогла?
- А того, що у його било под рукой царство. У Суворова не било царства, бо он сам служив царю і по царському приказу бив непріятеля, а у Фридриха било своє царство—Німецьке; а в кого есть царство, тот должен пеклуваться що-дня, що-години, щоб усім людям у його царстве било добре, щоб всі билі ситі, одягнені, щоб сильний не обижав меншого...
  - А чого ж генеральша б'є людей?—перебивав я старого.
  - Хто тебе казав?
  - Лука Швець.
- Не слушай брекень!—зіткне дідуньо.—Нікого біть нельзя... У Бога все рівні... і простиє люді такі ж самі, як і ми... Вони бідніші, правда, но оні в том не виновати...

- A чого ж бабуня лаяла, коли я подарував свою хустку Грицькові?
  - Яку?
  - А ту шовкову, що мені шию зав'язують...
- Ну, бабуня й сердилась за то, що тобі зав'язано шию, щоб не остудився, а ти сорвал і по вітру, гасал розхристаний.

Такого й иншого змісту велися у нас розмови що-ранку, поки їх не зривала бабуня.

- Вставайте, вставайте-бо, Захарій Осипович, час: вже кава готуватиметься, а малому ось-ось принесе баба вареники...
- Ну, рушаймо, Миша, живо, по походному... раз, два, три!... крикне було старий і почне одягатись.

Я теж кидався до одежі; але нянька не допускала мене, не зважаючи на мої супереки, та й бабуня обстоювала, що рано ще дитині "утруждать" себе: малому й підвередитись, мовляла, не довго, хай ще нагулює собі сили.

Хоч дідуньо був і иншої думки, але з бабунею змагатись не важивсь. Таким робом няня мене одягала, мила, чесала й нарешті ставила перед образи молитись. Молитов треба було прочитати чимало, і я під кінець озирався часто, чи не несе вже баба Сірчиха вареників? Кажуть, що коли я читав "Отче наш", то після слів "хліб наш насущний дай нам днесь", питався инолі у бабуні з досадою: "чому хліб, а не булку?"

Булка мені очевидячки була більш до смаку.

Одягшись, ми виходили в чайну, де вже круглий стіл покритий був білою, як сніг, скатертиною; на столі червонів томпаковий самовар і кофейний лембик; про його скажу кілька слів, бо з тим лембиком сталась мені потім пригода. Це справді був мідний лембичок, на трьох ніжках; зверху від шийки йшла тоненька рурочка, загиналась униз і, пронявши ніжку, стирчала гостресеньким кінчиком; в середину лембика наливався спирт, шийка затикалась міцно, а під спід ставилась спіртова лямпочка. Коли спирт починав парувати, то пара виривалася з силою під сподом з кінчика рурочки, пролітала через лямпочку, займалась і огнистим синьо-червоним струмком палахкотила мало не на локоть у довжину. Кофейник ставили під це полум'я, яке огортало його з усіх боків, разсипаючись цілими шумливими пасмами скалок. Найцікавіше було мені дивитись, як варилася кава і бабуня без мене лембика не запалювала. Крім того стояли вже на столі масло, сметанка парена з шкуркою мало не до дна горнятка, плетенка з коржиками, бубликами й крендельками, часом підсмажена булка у маслі.

За сніданком чи за обідом, та й так, няня не одступалась від мене, щоб дитина не вдавилась, не обварилась, щоб не набила собі лоба, або не зробила якої шкоди. Няню я дуже любив за її ласку, упадливість, а найбільш за казки; проте її поміч за столом мене досадувала й де далі, то дужче. А коли було вийду з нею гуляти, то аби вирвався—тільки мене й бачила: я вже знався з хлопцями на селі, мав приятелів, то бувало, як дременемо, то аж на Дривальці опинимось (друге село, суміжне з Кліщинцями). От тільки, коли приходив навчитель, то няня вже мене кидала на нього, та й то иноді сиділа в куточку, щось шпортаючи, й доглядала, щоб навчитель не "утруждав" панича й не знесилював його ученою мукою.

По каві дідуньо сідав у своє вольтеровське кресло й поринав цілком у книжки, а бабуня часом в'язала панчохи, чи якісь хустки, а то мотала з веретін на мотовильце нитки, або бралась до мотушки мотати пряжу в клубки. Часом замість мотушки бабуня надівала мені на руки цілі пасмища пряжі й я мусів тримати їх, аж поки бабуня не розмотувала до нитки. Правда, бабуня мені в ті часи росказувала цікаве, а потім наділяла чи пряником, чи маковником, чи яблуком, і я ніколи не нудився такою роботою, споліваючись завжде на надгороду. Як ми чаювали дуже рано, то о дев'ятій, чи о десятій годині приходив до мене навчи-Лекція дячка завжде одбувалася "в середній". тель---дячок. Дячок Ісай був довготелесий, лисий, з товстим синім носом, окульбаченим здоровими окулярами; окуляри звязані були на потилиці поворозками, од яких висіли аж на спину кінці; за окулярами блищали маленькі червоні очі, а ніс так був набитий табакою, що дячок аж гунявий був. В довгій свитці, підперезаній поясом, в чоботях, вимазаних ворванню, намащений оливою, з указкою за ухом, дячок у передній ще крякав, відкашлювався й облегчивши двома пальцями носа, обтирав його якоюсь темною хустиною й увіходив у "середню".

— А хто там? — озивався дідуньо.

- Я, причетний слуга вашої вельможної милости, одмовляв дячок, посуваючись боязко й кашляючи в долоню.
- А, Ісайя!—обертався до його дідуньо...—Здоров, здоров!... Миша! До науки! На лево кругом марш!—командував він до мене й додавав дячкові:—А що, як батюшка, отець Михаїл?

Дячок кланявся й цілував руку у дідуня.

- A, хвалити Бога, нічого. Вони учора вранці хрестили у Сверида Коця... сина Бог дав... Захарієм нарекли.
- А, тьоска! У Свирида? Прекрасно: то були все у його дочки, а то й син. Що ж—радий?
- Вельми... частували так... Спотикач у його,—так і батюшка пили та хвалили.
  - Вот тобі й Свирид!
- Воїстину... а матушка їздили у пасіку копать буряки й картоплю.
  - Що ж; уродила?
- Набрали дванадцять мішків... Там і на мою частку випало три мішечки... Картопля нічого собі, пісковата, але не така, як во врем'я оно: оскудіває в числі...
  - Зайдеш з мішком у двір, то я дам ще своєї.
- Благодареніє щедротам вельможної милости,—кланявся дячок,—вашими добродійствами тільки й держимось,—і відкашлявшись, вів далі:—матушка теж напоминались про щепи... та вони самі зайдуть... оце на тім тижні збіраються льнувати...
- А, поможи Боже! Ну, Миша, скорим шагом! Учись,—наука великое щастя... от, як вмітимеш читати, то я тобі всі книжки подарю... а от них столько добра, сколько за вік свой не знайдеш.

Ні я, ні дячок не розуміли, про що провадив дідуньо; але останній сумно кивав головою й поясняв:

— Во істину! От, як букварь скінчимо, то й горщик молошної каші розіб'ємо...

Я розгортав букваря, досить уже засмальцьованого та подертого і голосно за указкою дячковою проказував склади, а потім і читав по складах: "отверзи уста мої, Господи, і восхвалю славу Твою"...

З пів-години я уважно вичитував: "Бог, Божеський, Боголепний, Богоугодіє", а далі вже на словах—"страннопрімний" і "страстотерпедъ" утомлявся й починав перебивати свого навчителя всякими запитаннями.

- A що таке страстотериец?
- В молитвах есть...—одкаже було дяк, смикнувши з свистом табаки.
  - А що ж воно значить?
  - Що? Молитвословіє...
    - Мене ця відповідь на задовольняла й я допитувався далі.
  - А що таке "кустодія"?
- От згадали!—всміхався дяк.—Ще далеко до кустодії: це на страстях у велику седмицю читають... аж при кінці...
  - Але що ж воно?
- Гм... що...—чухав він потилицю, а потім обривав зразу:— та не злягайте бо грудима, не давіть книжки...
  - Обридло!—вередував уже я.—Краще писати...
- Ох, паничу!... Як би ви були в бурсі, то списали б вам стару панійку за це слово... Бдіте, да не внідете...

Я нишком сіпав за поворозку ззаду дяка; окуляри спадали йому з носа, а я заливався реготом...

Дяк сердився й нахвалявся пожалітись панові полковникові, але я його не пускав: згода наставала небавом і я приймавсь до писання. Гусині пера темперував мені дяк, а писав я по чорній дошці білилом; виводив уже я гражданські літери з прописі й переписував навіть слова: "всякая тварь дышеть", "Бога бойтеся, Царя чтите", "сладостно умереть за престоль и отечество"... Писати я писав залюбки, але бабуня зривала через яку годину нашу науку.

— Годі вже, годі!—появлялась вона на порозі з чаркою горілки й періжком.—Не муч його, дяче: воно ще мале... А от випяй чарку березівки та заїж періжком... А ти, мій сердешний, біжи снідати,—і вона мене пригортала й голубила.

Дячок підходив до ручки за чаркою й уклонившись рушав далі; а ми з бабунею йшли до "чайної", де вже на столі стояв другий сніданок: конечне—пироги, маринади, кулешик, галушечки, пампушки, драгоне й инше, вважаючи який день—писний, чи скоромний. Усі пости й середи з п'ятницями додержувались там строго, а бабуня ще й понеділкувала.

Після сніданку до дідуня приходив орандарь Гершко, а то й до сніданку. Пам'ятаю, що він був худорлявий, рябий, з вузькою борідкою, в ярмулці й пейсах (тоді ще їх не було заборонено), і перед тим, як зближався до чайної, дуже чепурив свої пейси,примочував їх слиною, накручував на пальці й приладновував до ярмулки; проте вони в гарячій розмові, -а спокійно Гершко навряд чи й балакав, - підскакували й били його по щоках. Гершко, крім корчми і грошових інтересів, держав ще й млини на Сулі. Млини ті були спочатку власністю одного дідича-діда мого діда, якому належали всі Кліщинці, Матвіївка й Галицьке; але ключ той дітям уже розбився на троє, а онукам аж на семеро. Землю й людей можна було поділити, а млинів рубати на частини не доводилось. Вони складали одну велику будівлю, в якій малося дванадцять кіл. Ото ж будівля, містки й греблі мусіли зостатися в спільній власності, а поділили спадщики лише кола. За ті часи у дідуня було п'ять кіл, у Лисянської два, у Антипова одно, у генеральші два й у Лисенків Галичанських два кола.

- Ну, що скажеш, Гершку?—радів, видимо, дідуньо, що малося з ким побалакати, і зсунувши окуляри на лоба та заживши добру понюху табаки, відсовував книжку.
- Хвала Богу, вельможний пане маршалку, у нас усе благополучно... От тільки чув, що в Матвіївці прорвало греблю, то щоб горішня вода не наробила нам шкоди.
  - От, тобі на!-бентежився дідуньо,-з чого ж то?
- Хиба вони, пане маршалку, дбають? Ой, вей! Так же, як і наші пани, вибачайте ласкаво,—поки скличеш усіх, то й лапсердака поб'єш і пейси обсмичеш... Ой, ой!... А там дідича нема, а господарює простий мужик, то йому в голові гребля? А бодай я так свої діти кохав...
- А! Кателики!—вилається дідуньо: це слово у його було найбільшою лайкою.—Ти поїдь туди, накричи од мене,—щоб ту ж минуту... а то я з ними по Аракчеевському!

He знаю, чи розумів Гершко дідуньову погрозу, але вхваляв її вельми.

- Так, так, пане маршалку, не попускайте! А то, ховай Боже, коли звідти хвиля посуне, то греблю на Сулищі вирве,—вонай без того ферфал дише—і наші млини опиняться у Дніпрі.
  - Sacre nom de Deiux... Ти побіжи туда зараз!

- Йо, йо! У мене самого по-за шкурою, звиняйте, комашня біга... Ох!—зітхав він і почухавши за пейсами, додавав уважно:—
  наша гребля, кажу, що одводить Сулу від Сулища,—вей, вей—
  аж двигтить: вода вже промила... Я з вухами лягав на греблю—
  дзюрчить, аж у трьох місцях... Ой, мамеле! Як Сула вирветься!
  А вже на Чортовім мосту дві палі вимило... Треба, вельможний
  пануню, поклопотатися завчасу, а то надбігають кучки й дощі, то
  щоб не сталося нещастя...
- Я напишу до всіх спільників; а ти теж побіжи, щоб збіралися на шарварок...
  - Напишіть, вельможний пане маршалку, і пану Лисянському.
  - Какому!-стрепенувся дідуньо.
- A вашому сусіді, що за Сулищем: приїхав оце, прибув сюди, як маму кохаю.
- Настенько, чует?--гукав дідуньо.--Какойсь Лисянський осе́л біля нас.
- O?!—цікавилась і бабуня, виходючи з своєї спочивальні у чайну.—Справжній господарь?
- А справжній, пані: отой, що закупив маєтки від покійного пана Романа. За десять літ оце він уперше заглянув і каже, що осяде цілком.
  - Ти його бачив, Гершку?
- А бачив, вельможна пані: дуже строгий, балака не по нашому і не второпаєш...—што та пошто,—от як генеральша, а то й гірше ще цвенька... а я тільки очима кліпаю... далібуг, аж сміх бере... тільки кланяюсь. А тут приходить до його Павло Дзюба, рибалка, що й вашій милості часом рибу приносить, що жінка його вовну красить...
  - Ага! Ну, ну...
- Щось немов би то пан заборонив людям рибу ловить у Сулі, при його березі... чи що: хто його розбере—ото й кричав... Ой, мамеле, як же кричав, мов на пуп! Я спочатку слухав, а далі назад, вей-зе-мир! Уф, налякав як! Аж запінився, та репетує: "я вас навчу, проклятих хахлов, я покажу вам, мазепи!" та як хвисне Павла по писку, щоб я луснув...
- Господи! сплеснула бабуня руками. Такого поштивого діда?

— Ах он, фармазон! Рострелять! — аж схопився дідуньо. — Какоє он має право заборонять? Річка вільна, ето не озеро і не став! О, diable! Пусть он до мене заглянет, я йому покажу мазеп і хахлов! пришлеци, кателики! Лезуть до нас на здирство, та єщо й кирпу гнут, рукам волю дают!

Дидуньо, пам'ятаю, так розсердився, що й я налякався й кинув їсти вареники.

— Годі вже, Захарій Осипович!—забентежилась і бабуня.—Не гнівайтесь дуже: ще завадить, борони Боже, і прийдеться сабур заживати.

Сабур у дідуня був єдиним всемогутним ликарством проти всього.

- I то правда, цур йому!—аж плюнув дідуньо.
- А ти краще, Гершку, поклопочись за рибу: тепер оце в-осени лящі ловлються...—одхиляла на инше бабуня:—та коли поїдеш у Матвіївку, то привези яловичини, а то гуси обридли.
  - Добре, вельможна пані.
- А той пусть і не дума, щоб я до його писав! Хай перш сюда явиться, то я його по Суворовськи!—не втишався дідуньо.

Гершко низько кланявся й на дибках виходив з "середньої". І довго ще, по відході Гершка, бубонів щось про себе дід, а бабуня з трівогою на його позирала...

Перед обідом, як погода була тепла та соняшна, я завжде гуляв на дворі, а то й по селу, з нянькою; там уже, як спіткаю було своїх товаришів-хлопців, то й по няні: вирвусь, та й гасаю з ними і по токах, і по левадах, і по ліщині, що густо росла по кручах і лугах над Сулою. В луги й ліщину я любив дуже ходити: там крім оріхів, росла ще й ожина. Оленка завжде підмовляла мене й свою матір, щоб там гулятись; тільки туди було далеченько, а без дозволу бабуні відбиватись від дому було невільно; бабуня ж пускала хиба в свято зрана, у теплу надежну погоду. Ото ж пізньої осени й на думку не спадало проситись, бо мене страшенно кутали й мало не цілу зиму у покоях держали. Приходилось бавитися в хаті, і я по сніданку найбільше гуляв з Оленкою, що рада була збутись роботи за-для паничівської втіхи.

Гуляли ми в піжмурки, в схованку, в коней, а то й у довгого воза; робили з карт москалів і шикували у лави... У війну

найцікавіша була забавка: я удавав Суворова, а Оленка Фридриха, або й Наполеона; розставимо було картяні війська і почнемо дмухаючи їх валити, - хто зостанеться переможцем, той і їздить на другому верхи... звичайно, панич ніколи не бував побіденником і Оленка його завжде возила. Тим то Оленці війна не подобалась і вона була до ляльок прихильніша; де-коли й я з ляльками її бавився й удавав із себе то лікаря, то навчителя, вельми лютого.... Побігаю було та й берусь до малювання: змалку воно було моєю пристрастю. Ніхто мене тоді малювання не і я легким робом доходив штуки: візьму було картину, накрию її чистим папером, та й притулю до шибки і навожу олівцем через світ риси. Картини мені купувано було у коробейників, звичайно, не мудрі й не дорогої ціни-гривня за пару, або найбільш гривеник: то генерал якийсь на коні, а під ним тьма-тьмуща і своїх вояків, і ворожих, то з квіткою пані, а то й святе що. Пофарбовані були малюнки з одного маху руки недбалої й нетямущої: розженеться зелена стяга з поля й перетне усі обличчя людям, або червоний колір з генеральської бинди чи коміра розбіжиться геть і перетне річку... Про небо й не кажу: там такі чудасії виходили, яких й на прикінці світа, мабуть, не буде. Так ото, списавши олівцем риси, я хапався замалювати їх акварельними фарбами... Мені моє малювання дуже подобалось і тішило надто, хоч дідуньо над ним і сміявся...

Незабаром, о першій годині, ми й обідали і завжде в "середній". Мені ставили високе креселко, і няня, обвязавши мене щільно серветою, різала мені м'ясо, кришила вареники, студила, на злість мені страву й мало не годувала з рук, за що я ображався страшенно: у нас завжде йшла війна, щоб вона не мішалась до моєї страви; бабуня держала сторону няньки, а дідуньо — мою. Не в пам'ятку вже мені, які були тоді страви, тільки згадується, що дідуньо любив пісний борщ з товчениками, або з сущеними карасями, щучу икру, кашу пшоняну на раковій ющці, солянку з в'юнів, драгоне з чабака і всякого роду вареники—і з картоплею, і з урдою, крім сару; а бабуня любила гуску з яблуками, индика до підльови, якусь потравку з шахраном та имбирем, і затірку та лемішку. На закуску між иншим подавано й кашу; вона мені була так до смаку, що я завжде прохав бабу Сірчиху,

щоб частіш її готувала. Певно пісних страв уживали там більше, бо й тепера вони мені більш до смаку.

По обіді дідуньо й бабуня одпочивали і мене примушували до того, але я опірався рішуче, хиба, набігавшись до втоми, дуже вже знемагався. В-осени ж і зимою мені можна було побавитись і без догляду бабуні. В диванну вона мене не охоче пускала, бо там було холодніше, та й у прихожій, мовляла, могло обвіяти; а мене тим більш туди вабило. От, скоро було засне бабуня, я вже і в диванній,—дивлюсь і любую, як коберниці перебірають основу мотушками кольористої вовни і як з непомітних пружечків, стьобків виходив чи листок, чи квітка, чи химерний який викрутас. Яскраві, розмаїті фарби вбірали в себе мої очі. Я й старшим уже любив додивлятись, як гаптували на п'яльцях, або як малювали: останнє й тепера мені втіху дає.

А в диванній було і цікаво, й весело, а надто без баби Сірчихи. Коберниці раділи, коли я приходив, бо панич давав привід ухилитись від праці й погулятися з ним хоч хвилину; а я зараз і намагався, щоб кидали роботу дівчата, або й Свиридиху благав невідступно... Дівчата ото й починали співати, цокотіти, забавлятись.

Між дівчатами-коберницями наймолодшою й найкращою була Титяна; вона теж і услуговувала в покоях. Мов мрісться мені, що вона була середнього зросту, а тонесенька та гнучка, як лозиночка; очі мала лагідні та хороші і крились вони довгими, темними віями...

По відході баби Сірчихи більшина дівчат розбігалася, а лишалися зо мною тільки двірські: Олена, Титяна, Мокрина—пиката й кострубата дочка кухаря, та Вустя, кривенька на одну ногу. Ну, ми й починали гулятись—у зайчика, у перепілки, у воротаря, у перстня, чи й у піжмурки; здіймем було такий гармидер, що й Свиридиха прибіжить спиняти.

Я починав її обнімати й прохати, щоб не сердилась, бо незабаром ось-ось приїде дядько Сашко, то тоді при йому уже нитка увірветься.

Я завважив, що коли натякнув про дядька Сашка, то Титяна аж на виду помінилася і стала никати по хаті, а як відійшла Свиридиха, то підбігла до мене й нишком спитала:

- Чи то правда, що панич Олександер Захарович приїдуть сюди, чи то ви нарочито так сказали господині?
- А буде, дядько, буде, —одмовив я з великим жалем. —Бабуня казали, що прийшов лист... Пропали ми!
  - Чого?-аж скрикнула Титяна й зашарілась.
- Як чого? Він москаль... у зброї... ані підступити... грю-кає, стукає... розжене...
- Ха, ха! Що ви, голубчику? Та дядько ваш такі добрі, такі ласкаві, що й не сказати!
  - О? То він не розжене?
- Матінко! Вони й мухи не скривдять... Такої душі... От побачите... та ще як полюбите дядька,—ось як!—і вона пригорнула мене і чмокнула в щічку... Не знаю, чи причувала тоді бідна Титяна свою долю? У мене й самого, невідомо чого, зворухнулося серце й я хотів поцілувати Титяну, так Свиридиха гукнула:— Титяно! А самовар? Що ти собі думаєщ?

За вечірнім чаєм, який одбувався дуже рано, до дідуня приходив отаман Дмитро, і вони вели розмову про господарство. Що б дідуньо не казав, він слухав без супереки й підтримував його думку короткими: "еге", "так", "слухаю, вельможний пане", а на кінці вже викладав, що має завтра робити й часом зовсім не те, що загадував пан; а старий пан теж здебільша мовчки згожувався з Дмитром і квітував його волю державним словом: "так тому й бути"... А коли випадало який-не-який раз докласти дідуньові свого, то вже Дмитро відходив з таким покірливим словом: "як вашій вельможності вгодно!"

Чай дідуньо пив, принаймні у вечері, зелений, а вранці здебільша заживав каву. Я теж у вечері напевно пив чай, бо любив натокмачити у склянку булки й робити з неї бабку. Відпивши чай, бабуня лишала Захарія Осиповича розмовляти про хазяйство, а сама відходила до своєї спочивальні; там уже ждала її Сірчиха й доводила, що прийшли баби—Дмитриха й Гудзиха: перша у бабуні була за отаманшу по її господарству, а друга, хоч і з части Лисянського, була найкраща ткаля і зналась на крашенні вовни, того то часто й навідувала бабуню. Обміркувавши хазяйські справи, бабам підносилось по чарці горілки, а Свиридиха ще трактувала їх і вечерею, після якої вони внову вертались до спочивальні на попряхи. Сама бабуня любила страх прясти й виводила з кужіля тонесенькі нитки; такі ж певно нитки пряли й баби, і з тієї пряжі ткались потім тонкі сороковки-полотна, яких тоді панство замісто галанських уживало. На бабуніних попряжах розмова йшла про злобу дня на селі, про чутки за сусідніх панів, про базарні новини й про инше. Як що траплялось цікаве, чи надзвичайне, бабуня зараз переказувала Захарію Осиповичові.

Мене не дуже займала ота бесіда, де, серед сюрчання веретін, точилась тиха і млява розмова про справи, мені геть не цікаві, і я любив більш сидіти коло дідуня у чайній і наглядати, як він роскладував великого, на дві колоди, пасьянса, Наполеоновського, як він звав; постер гши трохи його, й я помагав де в чім дідуньові; а той мені росказував про всякі події з минулюго. Його минуле було повне широких громадських картин і високого інтересу, але малій дитині ніяково було про все росказувати: ото ж із його розповідків мені й урізались тільки в пам'ять—роскішні палаци, пишні учти за Катерини, білі парики, Суворов та инші вельможі, а далі, що цариця віддає люд на бійку панам. З найбільшим захватом дідуньо говорив про Олександра "Влагословенного" і про "отечественную війну", а проте й Наполеона не кляв, а взивав тільки дурнем, що пішов на Москву, а не повернув на Вкраїну.

Пам'ятаю, що в ті часи, прочувши від бабів, як погано поводиться з селянами пан Лисянський, або його економ, бабуня доводила про те зараз своїй дружині, і старий аж схоплювався на ноги від гніву: кине було пасьянса й почне хутко ходити по середній та чайній, пригрожуючи, що поїде сам до губернатора, чи й до губернського маршала скаржитись, бо сам царь, мовляв, (Миколай!) звернув уже увагу на жорстокість та сваволю панів, та й видав не один указ, щоб прикоротити руки лиходіям.

Коли я не досижував до вечері, то мене нечуственного роздягали і клали на бабуніне ліжко; проте вечеря моя не пропадала і я, прокинувшись уночі, чи досвіта, доїдав її в ліжку; а коли вечеряв з старими, то давав їм на добраніч і з нянькою відходив до спочивальні, а старі ще грали у чайній в мар'яжа.

Роздягши, няня молила мене Богу, хрестила і вкривала старанно в ліжку, а сама сідала край його росказувати казок. Вона їх так пишно та занятно складала, що не то я, а й Свиридиха, чи й бабуня заслуховувались. Я було лежу собі під теплим

укривалом, приплющивши очі, і чую, як чарівні та жахливі почування мене огортають і несуть кудись в невідомі, баєчні краї. Лойова свічка підсліповато моргає за спинами попрях-бабів, а в кутку, коло образів, червоним світлом блимала лямпада. Химерні тіні од бабів з веретенами й кужілями, тягнуться геть по стінах, тремтять, здіймаються і звисають з стелі марою; а на стелі від сволока лежать рядками ще другі чудернацькі сутіні й гинуть над грубою, де заліг звірищем чорний морок. Мені здається, що звір той ворушиться і от-от скочить на мене. Я закриваюсь ліжником і одвертаюсь до глухої стіни; але й там стереже мене страх і примушує глянути під ліжко. Я роскриваю очі й кидаю тривожний погляд по хаті: крізь морок вбачаються всюди і темні, й ясні сутіні; переплутавшись химерними пасмами, вони снують тремтячи по стінах, а то збігаються раптом на стелі й ховаються за суфітами груби. Від того ворушиться ще більше залеглий там звір і наддає мені жаху. Я зажмурюю очі й мені вчувається одноманітний голос моєї няні, як тихе дзюркотання води:

— "Іде та й їде царенко; під ним кінь вороний, золотеє сідельце, а на йому сагайдак срібний та шлик оксамитний, червоний; спереду на шлику ясні зорі, а на потилиці місяць. Іде царенко у трядесяте панство, у инше царство, що аж за дев'ятьма річками та за трьома морями. Спішиться він визволити з неволі красну царівну, яку заполонив з її кревним людом змій з трьома головами".

Я кидаю оком на грубу й закриваюся рукою, а няня про-казує далі:

— "Іде не день, і не два той царенко; поминув свої межі й перехопився в чужий край. Його зараз обступили дуби широкочолі, а потім окрили бори. Вгорі маячить ледве небо, а навкруги товплються сосни: пропустять його та й збіжаться позаду, а спереду лавою заступлять дорогу. Кінь приска, блима очима, гривою має, а дерева простягають гілля, щоб його зупинити... і де далі темніша в бору, а здаля вчувається регіт мавок, а то й лісовика кострубатого вигук. Проте царенкові не страшно пітьми: йому світить у грудях надія".

Голос няні притиха й біжить у далечінь, а сама вона то здіймається аж до стелі, то відсувається-відсувається, змаляється до цятинки й гине в сутінях; але то вже не сутіні, а пишні ко-

льористі дерева; вони обступають мене, схиляються верховіттям над чолом і шепотять про якісь несказанні дива... А далі все зника й залягає в будинку тиша аж до світання...

Так точився тоді у Кліщинцях день...

М. Старицький.

### — Ніч. -

Тихая ніченька—ніч чарівниченька Землю вкриває... Князь наш яснесенький—місяць повнесенький Лагідно сяє.

\*\*

Он—усміхаються, в хмарки ховаються Зірки злотисті.

В тінях заховані, сплять зачаровані Квіти барвисті.

\*\*

Купами темними, сумно-таємними
Верби схилились.

Спить люд замучений, горем засмучений— Всі потомились.

\*\*

Радість хвилинную й працю невпинную Нічка приспала,

З їми й жахливую долю зрадливую, — Бодай не встала...

С. Черкасенко.

JAIL (

an n

im

PATOI

THICL

et are

3a. 2, bhi

ПОДЕЙ ПОРИ Д ПЪ На Черепія

## Хліб наш насушний...

1

Hapuc.

Чорний залізний велетень з червоним черевом, элегка повертаючи видним над водою хрещатим гвинтом, мов риба хвостом, привалився до пристані. Розчинив свої чорні пельки-трюми і затих, замлів, випускаючи ледве помітний димок з величезного закуреного димаря. Він чогось жде. Він жде собі поживи: золотого зерна з широких ланів України.

Він, отой велетень з просунутими в залізні ніздрі ланцюгами, з якимсь незрозумілим написом на чолі, зазнав бурхливих хвиль океану, переплив кільки морів, проліз у Дніпрових гирлах і приплив сюди, до тихих плавнів, щоб набити своє зараз порожнє черево "русскимъ" хлібом.

Він жде, гордий і самовпевнений: хліб буде, він зараз поллється в його. Повинен политись, бо він привіз з собою кільки пригоршень золота. За те золото він купить хліб.

І справді, вже пливуть до його берлини й баржі, сунеться, немов стара обшарпана дзвіниця, високий елеватор і люде забігали по помостах, як комашня, щоб догодити "чужоземцеві", наділити його своїм хлібом.

І хліб посипався у величезний залізний шлунок. Його сипе елеватор, його несуть у мішках, згинаючись під вагою й обливаючись з напруження потом, "носакй", і ціла юрба жінок і дівчат, мов на пожарі воду, жваво носять його відрами і кидають туди, у ті пельки-трюми.

І залізний велетень задоволено глитає зерно і поважно дише, видихаючи з себе пил. Той пил повиває і його самого, і всіх людей, що метушаться на йому. Сонце золотить той пил, а з гори дивиться на його тисячами скляних очей город. Він лежить на горі, мов величезна пірамида вибілених сонцем людських черепів, і мовчить.

Digitized by Google

А він би міг сказати багато!...

Тут широкими струмнями ллється в залізне черево "чужоземця" хліб, а там, геть далі від города й від річки, на необмежених просторах степів, мруть люде з голоду.

Там, у обдертих хатах, сидять убогі, виснажені працею люде і бліді, тонкошиї, мов неоперені пташенята, діти... сидять без хліба. Його немає... він не вродив... Його забрано за податки, за оренди, за право ходити по землі і вмірати на їй з голоду...

Його забрано. І ось він ллється у черево того велетня, у черева сотень таких велетнів.

Город знає се й мовчить, і байдуже дивиться на те, як "чужоземець" глитає золоте зерно і все глибше й глибше осідає в воду.

Ось він уже нажерся досить. Більше не можна, бо не пролізе в гирлах... І він закриває свої чорні пельки: буде з його, він поки що наївся.

Завтра він рушить додому, і люде чужого краю будуть їсти отой хліб, що так щедро наділено йому за кільки пригоршень золота, і будуть з того хліба ситі, і будуть сміятися з людей, що вміють на своїх убогих нивах і широких панських ланах виробляти хліб і не вміють його їсти...

М. Чернявський.

# Велике повстання англійського народу.

When Adam delved and Eve span, Who was then a gentleman? (Плугатарем як був Адам, а Сва пряла, Хто паном був тоді?)

3 пісень повстання.

Маючи на думці дати читачам "Нової Громади" кілька нарисів з історії західно-європейського громадського руху, намірився я роспочати свої історичні оповідання з тіх часів, що їх можна було б назвати "ранком нової доби", коли саме почали витворюватися ті нові принціпи людського життя, що й досі не скрізь і не в однаковій мірі здійснилися, не скрізь і не однаково набули собі реальної сили та міцних підвалин. Ба навіть де-які з сих принціпів ще довго стоятимуть на історичній черзі геть усіх народів, хоч оголошено їх кілька віків тому.

Я вмисне спиняюся на історії великого повстання англійського народу і роблю се з багатьох причин. Насамперед, Англія—се та країна, де новітній рух роспочався раніше од усіх инших держав по цілому світу, і через се розвиток, еволюція форм громадського життя має в Англії той колір національної самобутности, орігинальности, мовляв, органічности, якого вже не можна спостерегти там, де життя розвивалося не тільки під тиском внутрішньої, стихійної потреби в розвиткові, а ще до того й під впливом позиченої за кордоном ідеології, або ж живого прикладу готових чужих взірців. А таж було у Франції, в Германії, Австрії та й по инших державах старого й нового світу, де поруч місцевої, цілком самобутньої течії, йшла і друга хвиля, яка котилася часто з далекого краю, перемагаючи всякі межі та кордони. Англія—се вітчина сучасних форм державного ладу, се та "свята

земля", де вперше побачили світ принціпи людської волі, де вперше люде почули голос релігійної реформації Вікліфа ).

З другого боку, велике повстання англійського народу се подія надзвичайного інтересу, бо, поминаючи вже її драматичну привабність, сей рух кінця XIV століття сполучив у собі, як у фокусі, мало не всі ріжноманітні течії громадянські, всі ідейні проміні, які засяли в сю добу, що межувала з одного краю з мороком середніх віків, з другого ж з-безмежними просторами нових часів. І дарма, що се одбувалося в далекій минувшині: сучасний читач, хоч би він і як був захоплений величньою картиною теперішнього руху, чує чимало рідних згуків в трагичній музиці повстання 1381 року, бачить чимало знайомих, рідних фарб... А скільки навчаючого матеріялу дає історія повстання! Яке джерело прикладів, ідлюстрацій для соціолога, економисти, політика з їхніми міркуваннями про ролю особи і стихійного процесу, героя і юрби, про еволюцію та революцію! А широкість ідеології повстания, сказати б теперішньою мовою — програма - maximum руху, яка виявилася в палких промовах Джона Болла, звязуе сю давню подію з найновітнішими соціяльними змаганнями, коли не зважати на ріжницю теоретичних основ тодішнього й сучасного соціялістичного руху.

Отже після сієї передмови, закликаю читача поринути на час у густу темряву давніх часів, де нам світитиме крівава заграва 1381 року. Світло сього буйного полум'я може кине який промінь і на сучасні громадські події...

T.

Щоб зрозуміти гаразд історичне значіння повстання 1381 р., треба попереду ясно уявляти собі економичний та соціяльний стан англійського народу за ті чася, а разом з тим знати й політичні умови, за яких вибухло повстання, так само як і той ідейний рух, який спричинився до великих подій кінця XIV сто-

<sup>1)</sup> Кажучи про самобутність англійської цівілізації, ми, само собою, не забуваємо про вплив італійського гуманізму на Англію так само, як і про де-які пізніші культурні позички.

ліття. Ото ж перш над усе спинимося трохи на тих матеріяльних та ідейних умовах, які попереджали соціяльно-політичну революцію 1381 р.

Англія XIV століття вже не була тим кутком Європи, де, як от у тодішній Франції, панували всі звичайні, типові для середніх віків форми життя. Ще в XII та XIII століттях король англійський був уже дужим оборонцем центральної власти, яка добре приборкала феодальні змагання, здолала в свій час припинити середневікову анархію, таку характерну для Франції або ж Німещини, де королі, чи імператори, були швидче номінальними властителями, тільки primi inter pares (перші серед рівних), тільки попихачами свавільного феодального магнатства з його надмірними претенсіями, з його надзвичайною пихою. Суд англійського короля вже давно одібрав од баронів та инших дукарів-магнатів чимало справ, раніше належних до поміщицького (сенйоріяльного) суду, і се зменшило сваволю і силу великого панства, а разом і затвердило підвалини центральної, тобто королівської власти.

Отже сей розвиток централістичної системи урядування не був у Англії однобічним. Витворюючи основи міцної королівської власти-а тоді се було на користь геть усім пригнобленим, що терпіли від сваволі магнатів, --англійський народ рано збудував і ту фортецу, з-за мурів якої він перепинив розвиток нової системи в напрямі до самодержавія. Сією фортецею, що стала на перешкоді тому, щоб королівський централізм виродився в королівський таки ж абсолютизм, якого зазнала эгодом Франція, була для Англії "Велика хартія вольностей". Хоч її видерли з рук у короля Джона Безземельного феодали за підмогою городян, але вона-ся "Magna charta libertatum" 1215 року—не тільки забезпечувала де-які цілком тимчасові домагання та інтереси переможців, але разом з тим зробилася підвалиною майбутньої громадянської волі геть усім англійцям. Найголовніших пунктів у "Великій хартії" було два. Одним "з ласки Божої король Англії" давав обіцянку, що не буде збірати з англійських феодалів грошей, а саме т. зв. "щитових" на війну та ще "допомог", коли на це не згодиться "загальна рада королівства (commune consilium regni), яка повинна була складатися з самих-но феодалів, - графів та великих баронів так само, як і з дрібної шляхти (лицарів). Другим пунктом "Велика хартія" забезпечувала волю особи, бо забороняла арештовувати, засилати і взагалі карати людей без законної причини і без присуду законних суддів. Останній пункт, оголошений, як бачимо, трохи не 700 років тому, зостається не переведеним в життя тієї добре відомої нам країни, де замісць непохитного закону панує ще й досі дика сваволя башибузуків з їхнім улюбленим гаслом: "тащи и не пущай", "патроновъ не жалѣть!" і т. и.

Хартія вольностей 1215 р. була тільки початком громадянської волі англійців. Дальшими кроками, які зробив англійський
народ по дорозі до справжньої політичної волі, були перед великим повстанням такі. Насамперед "загальна рада королівства",
яка по хартії мала бути тільки-но феодальною, перетворилася
незабаром в парламент (parliamentum). Історію англійського парламенту можна починати з 1265 року, коли, після завзятої боротьби з королем Генрі III опозиції з Симоном Монфорським на
чолі, закликано в загальне зібрання держави й городян—по 2 заступника від кожного міста, коч таке слово (parliamentum) вперше вжито ще для зібрання 1246 року в літописі Матвія Парижського.

"Велика хартія вольностей", як зазначено раніше, обов'язувала короля скликати "загальну раду королівства" в такому разі, коли він хотів збірати на державні потреби де-які податки, а саме—"щитові гроші" (scutagium) та "допомогу" (auxilium). Про инші податки не сказано в хартії 1215 р. Отже ті податки були самі-но земельні, та й то такі, що накладалися тільки на феодальні землі. Виходило ніби, що король має власть без парламенту робити накази що до збірання всяких инших податків. І справді, довелося народові в ХІІІ таки ж столітті попобитися, хоч і безкровно, з королем Едвардом І за право парламенту стверджувати не тільки феодальні податки, а й инші, як от з рухомого добра, з земель нефеодальних, то-що. Се бюджетове право визнав Едвард І року 1297-го в так званім "Затверджениі хартій" (Confirmatio chartarum).

Тепер скажемо кілька слів про ті права, що їх здобув парламент в XIV столітті. Вже за Едварда II, а саме р. 1322-го, вироблюється парламентський статут, на підставі якого вся законодатна діяльність, а не тільки справа цержавних прибутків, повинна належати до парламенту так само, як і до короля. І такий стан річей витворився не зразу, а так, що раніш парламент давав свою згоду на ті чи инші податки тільки тоді, коли й король з свого боку йшов на зустріч тим народнім вимогам, які парламент виставляв у своїх проханнях—петиціях (petitio): петиції були першими проектами законів.

I в XIII, і в XIV століттях парламент намагався ще здобути собі право обірати з-межи себе людей, які близько стоять до короля, тобто порадників королеві, королівську адміністрацію, або ж як на сучасну термінологію, представників вищої виконавчої власти — міністрів. Бо, справді, тільки в такому разі була б повна забезпека, що урядова, а саме адміністраційна діяльність буде тим шляхом іти, якого бажає більшина парламенту. Отже тоді парламентові не пощастило з цією справою, хоч иноді й трапляються за сі часи органи виконавчої власти, примусово надані королеві. Сі заміри скасувати цілком стародавні права короля (його "прерогативу") не знаходили великої підпори серед тодішнього громадянства, і це через те, що парламент у ті часи зовсім не був такою інституцією, до якої членів вибірав увесь народ. Більша частина англійської людности XIII—XIV століттів була вріпацька, а, значить, не мала права брати участь в парламентському житті. І тільки в кінці XVIII століття витворилася тверда система так званого парламентаризму, за якої король Англії вибірає собі міністрів з пануючої на той час парламентської партії.

Та хоч парламент і не добув собі завчасу повної власти, але право його пильнувати діяльністи адміністрації, провіряти видатки, взагалі право контролю, було заведено ще за Едварда III (1327—1377). Прикладом контролю власти законодатньої над виконавчою може бути знаменитий "добрий" парламент р. 1376. Тоді саме парламент потягнув до суду де-котрих членів королівської ради (royal council) за їх шахрайства та злочинства. І все таки сей учинок "доброго парламенту" (good parliament) не мав тоді надто великих наслідків, бо королівська камарілля, на чолі якої стояв тоді брат короля Джон Ланкастерський та королівська полюбовниця Алиса Перрерс, мала більше ваги для Едварда, анїж постанови "революційного" парламенту. Ся ненависна народові камарілля зробила все, що могла, щоб у нівець повернути парламентську постанову й навіть покарати тюрмою головного промовця опозиції Петра де-ля-Мара. Повстанці 1381 року, як по-

бачимо, добре віддячили пишному герцогові Джонові Ланкастерському за ці, так само як і за багато инших, лихі вчинки й заходи. Але вони віддячили не тільки йому.

### ` П.

Рух 1381 р. мав перш за все соціяльний колір, і через те ми мусимо сказати кілька слів про економично-соціяльне становище країни під час вибуху народнього гніву. І економичним боком свого життя, так само як і політичним, Англія попередила инші держави центральної Європи. Вже давно минули в Англії ті часи, коли тут панувало пілковите натуральне хазяйство. Ще в Х столітті Англія має безліч міст (burh, borough), де засновується базарь і роспочинається жваве торговельне життя: кожне таке місто-бург, як казали англійці-має свій монетний двір (mynetere), де майстрі кують на потребу місцевої округи металлічні гроші. Сила селян суне в сі "бурги", де безпечніше живеться, де мійські рови та мури захищають від ворога краще, ніж зброя місцевого пана, де нема панської сваволі та утисків його прикажчика-бейліфа. В XII та XIII століттях міщане (burgenses) такої сили набувають через розвиток торговельного господарства, що купують у королів та лендлордів, і не дешевою ціною, право на самоврядування, на вільні від усяких оплатків (мит) подорожі по країні, звичайно, з торговельною метою. Замість королівського або поміщицького суду, вони обірають своїх суддів; замість королівського або сенйоріяльного старости вони мають своїх улюблених голов, своїх мерів (mayors); замість урядників королівської скарбниці (exchequer) всіх отих шеріфів, коронерів, бейліфів-міщане сами збірають через свій уряд гроші, які зібрати припадає на місто.

Та не всі міста були цілком вільними громадами (communa) навіть в XIV столітті. Були такі, як от Лондон, що мали вже давно за малим не повну незалежність од уряду, скільки взагалі ся незалежність можлива була; але було чимало й таких міст, що не багато чим відріжнялися від простого села, хиба тільки тим, що склали свою торговельно-промислову спілку, т. зв. ґильдію (gilda mercatoria, gild merchant), члени якої, дрібні ремісники здебільшого, намагалися поліпшити умови життя своєї мійської

громади і раз-у-раз боролися з урядом (панським чи королівським) за кращу долю, потроху одвойовуючи собі такі чи инші полег-кості, такі чи инші вольності (libertates). Було ще чимало й таких дрібних міст, де панувало навіть трохи чи не повне кріпацтво з усіма його прикметами: панщиною на землі лорда, якому підлягало місто, поміщицьким судом (court baron, curia custumaria) і т. и. <sup>1</sup>), і сі наслідки старої неволі не мало спричинилися по де-яких містах до загальної боротьби пригнобленого люду за волю.

Що ж до великих міст, які раніш і швидче здобули собі всякі вольности та привилеї, то тут ставала на черзі історичної еволюції соціяльна діференціяція, себто поділ мійського громадянства на два протилежні своїми інтересами класи: клас заможнього городянства, що захопив у свої руки владу по ріжних мійськіх інституціях, і клас дрібних ремісників, крамарів, робітників, інтереси яких багато де в чому відріжнялися від інтересів їхніх більш щасливих співгромадян. Минала середневікова патріярхальність і починалася повна бурь та завірюх доба класової боротьби.

Хоч і яку важливу ролю відгравали в той час міста, але більшість людности жила таки по селах. Село було не тільки джерелом, що постачало свіжі сили містові з його привабливою для селянина волею. Воно було ще міцною підвалиною добробуту англійської аристократії, і своєю споконвічною працею найбільше здобувало достатків і вельможним лордам, і державі взагалі, і містові з'окрема. Яке ж становище було найчисленішої верстви англійського суспільства в XIV столітті,—тії верстви, що кінецькінцем перетворилася в сучасних робітників-наймитів, а почасти в фермерів-орендарів та буржувзію?

Треба відріжняти становище селян до 1348 року, коли пройшла пошесть чуми геть по всій Англії, і після сії "черної смерти" аж до повстання 1381 року.

Пови в Англії панувало натуральне хазяйство, тобто таке, коли кожне господарство задовольняло всі найголовніші потреби

<sup>1)</sup> Докладніше стан міст обговорюється в моїй спеціяльній розвідці "Англійскій городъ въ средніе въка", Одесса, 1904.

свої здебільшого власними здобутками, доти Англія була країною. де більшість селян перебувала під ярмом кріпацтва. Селяне-кріпаки звалися вилланами (villa eсело, хутір) і належали або ж приписані були до того чи иншого помістя, маєтку, манора (manor, manerium). На чолі манора стояв його лорд. З X-го століття, коли, можна сказати, заводилася в Англії система невільницької, а саме кріпацької праці, і до половини XIV століття, кріпацтво чи вилланство (villenagium) перебуло значну еволюцію. Раніш, за часів мало не повного панування натурального хазяйства з характерним для нього браком грошей та кипучого торговельно-промислового життя, -- повною недостачею добрих шляхів, хоч би й грунтових, -- селянство англійське перебувало в такій стадії кріпацької залежности, яка цілком відповідала пануючій формі народнього хазяйства, - тобто натурального. Се значить, що всі відбутки на пана, всі повинності, які лежали на шиї виллана-кріпака, він мусів нести натурою, тобто, перш за все відбувати, коли треба, панщину з своєю ж таки худобою та иншою хліборобською справою (плугом, то-що) на ланах свого лорда, на його, мовляв, домені (dominium, demesne). Опріч того, виллан повинен був робити на пана-лорда всяку роботу на користь панського господарства, яку тільки загадає лорд чи його прикажчик або староста (бейліф, бидль, ст'юард): напр., копати рови, рубати та возити дрова з лісу, стерегти панську худобу на пасовиську і т. и. Незалежно від праці в панському масткові, виллан мусів ще кожного року давати на панський двір усякі натуралії, сказати б-дарунки, коли б вони не були обов'язковими для виллана: від усіх продуктів, які добував виллан у своїм господарстві, певна частка йшла на пана (дробина, поросята, яйця, сир, пиво-ель, ягнятина, сало, то-що). Коли виллан умірав, його син, або ж взагалі, його спадкоемці платили лордові т. зв. repiom (heriot), тобто пан забірав собі краще з живности селянина-спадкоємця (краще теля, вівцю, вола).

Оці всі натуральні оплатки та всяку панщину виллан-кріпак одбував за те, що мав невеличкий шмат землі, з якого користувався з призволу пана-лорда, та ще право користуватися з лісу, луки, насовиська, то-що. Всі ці права виллана звалися його державкою (tenementum, tenure).

Коли б тільки ці земельні повинності лежали на вилланові, він би ще не був кріпаком, бо й вільний орендарь міг спокутовати свої обов'язки що до лорда всякими натураліями. Отже виллан був на-віки зв'язаний законом із своїм манором, із своїм шматком землі. Та й сього ще не досить. Виллан був позбавлений елементарних прав людини. Він не міг, напр., віддати заміж своєї доньки чи сина оженити без дозволу лорда, бо се иноді могло пошкодити економичним інтересам лорда, дійсним або фіктивним: справді, дівчина, що віддавалася в чужий манор, вже ж позбавляла рідний манор того "приплоду", на який мав "законне право" лорд. Ото ж, коли виллан віддавав заміж свою доньку, пан теж користувався з сього, беручи при сій оказії т. зв. меркет (merchetum), "платню за кров", як казали тоді. До того ще виллан конче підлягав судові лорда (сигіа) і, нема чого й казати, не мав права ремствувати на пана та позивати його.

Господарство лорда і господарство виллана, що сидів на участку маноріяльної землі, були тісно сполучені одно з одним: лорд нічого не міг удіяти на свойому домені без праці та худоби виллана, а цей був би безпорадним без клаптя землі, до якої він був прив'язаний не тільки примусом, а просто й умовами життя, бо не було иншого йому порятунку. Лорд же був і природним оборонцем виллана від усяких насильств од чужинців, сусідівмагнатів, то-що. В суді манора (curia) розбіралися всякі господарські справи, всякі непорозуміння між селянами та манором. Не треба уявляти собі, що тут, в цім суді лорда, панувала повна сваволя пана чи його старости. Навпаки, звичаеве право (common law) селян мало велику вагу навіть за самих темних часів вилланства, і панська сваволя давно знайшла собі обмеження в традиції маноріяльного звичаю, який був освячений не тільки громадською думкою селян, що мали своїх заступників у курії манора, а ще до того й писаними протоколами курії, де охоронювано "добру старовину". Вилланство в Англії ніколи не було тим кріпацтвом, якого люде зазнали в Польщі, Московщині, чи на Увраїні, де воно перетворилося в справжнє рабство з нічим фактично необмеженою сваволею та надужиттями поміщика, з його надмірним знущанням над людиною, з його нелюдською наругою над усім святим для кріпака. "Сухі" англійські лорди що до сього повинні поступитися "пальмою первенства" своїм "м'яким" слав'янським товаришам...

Рабства повного не було: не міняли людей на цупиків, не одривали дітей од їх батьків, як от россійські Салтичихи та й наші "благородні" Перерепенки з Довгочхунами, — а залежність та особиста неволя таки були в Англії, як і скрізь. З часом, під виливом розвитку грошового жазяйства, вилланська система почала роскладатися, почався занепад стародавнього маноріяльного господарства. Вже рано лорди почали подекуди переводити колишні натуральні відбутки виллана на грошові оплатки, а свою землю (домен) обробляти працею вільних наймитів замість примусової роботи виллана. Зміна йшла потроху, під впливом чисто господарських міркуваннів. Ще задовго перед XIV століттям пани почали наймати пастухів для своєї худоби. Американський учений Педж (Padge) в своїй пікавій праці "Як панщизняні роботи перевелися на грошові оплатки в середніх, південних та східних графствах Англії" 1) доводить, що так почалося через те, що виллан мусів одбувати свою панщину тільки-но в певні дні тижня та року, а в ті дні, які цілком йому належали, панська худоба ходила б самопас, без жадного догляду. Ото ж поперед усього наймитів почали регулярно брати за пастухів. Та погляд Педжа не можна брати за цілком певний, хоч би через те, що староста міг примушувати кожного виллана по черзі глядіти панської худоби. Найголовніша ж одміна була та, що почали потроху переводити на гроші польову роботу. Річ у тім, що коні та воли, з якими виллан дряпав землю, були, може, досить доброю худобою для власного вилланового клаптя землі, але вже не задовольняли потреб панського господарства. Лорди почали дбати про поліпшення доменіяльної культури, щоб з продажу хліба та иншого хліборобського збіжжя здобути яко мога більше грошей на торзі, де вже таки добрий був попит на продукти сільського хазяйства,не забуваймо, що зростали міста з їх людністю, яка де далі, то все більше та більше вимагала хліба, бо сама хліба не робила, перетворившися на торговельно-промислове міщанство. Плуг вил-



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Umwandlung der Frohndienste in Geldrenten in mittleren, südlichen und östlichen Grafschaften Englands. Baltimore, 1897.

лана так само, як і його худоба, був не досить уже зручним для більш інтенсивної системи агрикультурної в панському маєткові, і через те лордові було вигідніше перекласти польову працю виллана, підневольну до того, на гроші, щоб за їх наймати собі робітника та придбати добру хліборобську справу. Між 1300 та 1348 роками рух, що почався ще за попереднього століття, сягнув далеко вже, і підневольну працю плугатаря-виллана по багатьох маєтках перекладено на гроші, які платилися лордові. Так само потроху перекладалися на гроші й инші натуральні відбутки виллана, як от копання канав, молотьба, то-що.

Хто ж постачав вільну працю? Хто був робітником?—З двох класів складалися ці робітники. Найперше се були ті ж самі виллани, що до 'станку або ж почасти збулися панщини, але досі ще зоставалися кріпаками, яких закон ще звязував з манором. Вдруге, се були цілком вільні робітники, яких правове становище більшменш наближалося до становища теперішнього наймита на фермі: воля ніколи не переводилася в Англії, а після норманського звоювання Англії (ХІ століття) багато вилланів викупило собі волю, а то й утікло від панів, і на нових місцях вони кінець-кінцем, після довгого переховування по лісах, робилися "незалежними ні від кого", хиба тільки від дошкульного пана—шлунка.

Не можна думати, що перед чумою 1348 р. скрізь панувала вже нова система, як се міркував собі англійський економиста-історик Роджерс в своїх славних творах з історії трудящих класів в Англії. Новітні досліди Кенінгема, Ашлі, Педжа, Петрушевського, доводять, що панцизняні роботи не скрізь скасовано в половині XIV століття, а вже нічого й казати про те, що хоч панщину здебільшого й перекладено на гроші і таким чином виллана одзволено від примусової панщини, сього найгіршого ярма кріпацької доби, але він не зробився зразу через те особисто вільним. Він все ж і надалі зоставався невільним, звязаним із землею манора вилланом; він все-таки "ходив по волі лорда", хоч ся воля й була дуже обмежена і звичаєвим правом, і умовами життя взагалі. Подекуди сі права лорда над вилланом були фікцією, тобто не відбивалися тяжко на долі селянина. Виллан діставав дозвіл іти в місто, платив що-року лордові певний грошовий чинш, і той його міг ніколи не чипати, бо й без сього виллана-бурлаки лорд мав біля себе досить робочих рук, щоб обробити свої лани. Хто ж був багатшим з вилланів, хто спромігся безупинною працею—чи то на своєму участку, чи то на панському маєтку, чи то в місті—зберегти яку зайву копійчину, той викупався у пана зовсім на волю, йшов собі куди очі, збільшуючи гурт мійської громади або ж тиняючись по манорах та шукаючи вільної праці за добру платню.

### III.

Чума 1348 року несподівано утруднила нормальну ходу роскріпощення вилланства, яке вже було почалося в глибині маноріяльного життя. Половина, або ж принаймні третина англійців стала жертвою сії страшної пошести. Зрозуміло, що через таке працю скрізь підбилася зменшення людности ціна на ру вдвое, а то і втроє. Зажурилися лорди-поміщики, які вже давно панщину на гроші переклали; зажурилися й ті пани, до нової системи, бо їхні виллани перейти шо опізнилися саме тепер з страшенною неохотою бралися до пансыких ланів, намагалися эректися панщини, бачучи, як вільні люде, а то й своя братія-виллани, заробляли добрі гроші, йдучи до панів у найми. Лорди з своїми попихачами-старостами всіх уживали способів, щоб використати саме тепер повною мірою свої права над вилланами,-ті самі права, які вже перед чумою зробилися подекуди фіктивними. Роджерс запевняв, що лорди почали навіть знов завертати грошові одбутки вилланів на натуралії—власне на панщизняну працю на полі. Нові дослідники одначе кажуть, що сього таки не було, на се не зважилися піти лорди, бо сей учинок був би в очах громадянства стращенним знущанням над традиційним звичаєм, над звичаєм манору. Навпаки, по де-яких манорах навіть після чуми можна спостеретти перекладання панщини на гроші, як того вимагали виллани, що тоді себе сильними почували. Але правда в тім, що здебільшого лорди тих своїх прав пильнували, яких ще не скасовано до чуми. Вони, напр., могли не давати дозволу йти в місто, вимагали акуратної приставки тих натуралій, які ще на гроші не перекладено, і т. и.

Сих заходів не досить було, бо се мало помагало лордам і от класові інтереси лордів так само, як і заможніх хазяїв-мі-

щан, що наймали про свої потреби майстрів, примусили короля Англії зробити звичайний для середніх віків крок, а саме—видати р. 1349 указ (ordinance), яким заборонялося брати й давати заробітню платню по-над ту, що перед чумою була. Парламент, що складався з магнатів, лицарів та заможніх городян, затвердив р. 1350 сей тимчасовий указ короля Едварда III, й видав постійний "Статут робітничий". Таким чином зробив державний уряд велику спробу вмішатися у взаїмні відносини двох протилежних своїми економичними інтересами класів, а до того ще й на користь пануючого класу—класу хазяїв. Кожний робітник, який більше брав, як одного пенса в день у косовицю, або ж більш, як два чи три пенси в жнива, підлягав суворій карі тюрмою; а хазяї, що переманювали до себе робітників вищою проти уставленої в статуті ціни платнею, мусіли відбуватися великим штрапом.

Втручання уряду-чи місцевого (мійського), чи державногов економичне життя, взагалі кажучи, диковимою в середні віки не було. Дрібна регламентація економичних відносин на селі так само, як і в місті, була досить звичайною річчю й виявлялася в формі дріб'язкових розцінок на продукти ремісничої праці й навіть в формі встановлювання заробітньої платні, годин праці для майстрів, то-що. Ще не настав той час, коли буржувзія розіб'є сі пута вільної промислової діяльности, зруйнує гальмо для вільної конкуренції й устами своїх ідеологів-економистів оповістить на ввесь знамените гасло: "laissez faire, laissez Отже "Статут робітничий" року 1350 так суперечив економичним умовам, які витворилися після "чорної смерти", що й сподіватися не можна було тих "приємних" наслідків, на які рахували парламентські діячі. Коли лорд давав вільним робітникам малу платню, яку ухвалив "Статут", вони йшли до сусіди, де староста мастку, з жахом дивлючись, як сиплеться зерно або ось-ось почне гнити колос, эгоджувався на всяку ціну. Та й як тут було позивати до суду робітників, щоб їх у тюрму завдати, коля робітник був конче потрібний і треба було його достати "хоч кров з носа"-тим більше, що тюремний в'язень не може ані косити, ані молотити... З прокльонами в душі, а таки брали лорди й дорогого робітника, аби тільки запобігти повній руїні свого господарства.

Але то була б помилка сказати, що "Статут" жадної сили не мав саме через те, що його вимоги надто вже не відповідали економичному становищу часу. Скоро наступали спокійні хвилі, коли люде обробилися, а панські попихачі закінчили справу рятування зерна-роспочиналася діяльність суддів, що вже не милували "каторжних" робітників. Кипіла робота і в курії лорда, і в судах урядових. От, напр., маємо акт обвинувачення якогось Вальтера Гальдербі в графстві Суфольк. Він, читаемо в протоколі, "брав у жнива з ріжних панів 6, а то й 8 пенсів у день, і вельми часто, таки ж у жнива, скликав на сходки робітників по ріжних селах і радив їм не йти на роботу менш, як за 6 або 8 пенсів". Цілком зрозуміло, що боротьба панства з робітниками за допомогою "Статуту", суду та тюрми викликала серед трудящих людей тільки страшенно ворожі відносини до власти та її заступників, а також і до самих лордів, що все ж клопоталися, щоб уряд ще й побільшив кари робітникам за нехтування "Статуту", який і без того вже в печінках сидів у робочих людей.

Статут заборонив також робітникам ходити на заробітки в чужу округу, а вилланам найматися до чужого лорда, хоч би й сусіди, доки відбуде роботу на ланах у свого пана. Клас вільних робітників, що вже й тоді був досить численний, саме почав виявляти ті цілком пролетарські змагання, які такими звичайними зробилися за нових часів. Робітники почали боротися з постановами "Статуту" змовами (страйками) та спілками. Вони нехтували заборону працювати в чужих графствах, 1) а в найгіршім разі ховалися в гущавині буйних лісів. Вже складався й люмпенпролетаріят, ,,п'ятий стан'', босячва, що залюбки могла обдерти на безлюдній дорозі якого бідолашнього мандрівця. Фактично становище робітника було тоді досить добре, бо заробітки були не малі, але юридично він підлягав суворим карам "Статуту", який завжде погрозою стояв над робітником і що разу міг стати на перешкоді й не дати користуватися із незгірших умовин робітничого ринку. В 34-й рік королювання Едварда III, за 20 літ перед повстан-

<sup>\*)</sup> Адміністраційний поділ Англії був такий: село (township), сотня в кількох сел (hundred), графство з кількох сотень (county). Місто (borongh) прирівнювалося до сотні, або, як Лондон, до окремого графства.



ням, видано, напр., постанову, на підставі якої теріф (найбільтий урядовець графства) об'являв робочого, що втік від кари "за межею закону" (out law), а се значить, що кожне мало право безкарно його вбити... Справедливо можна сказати, користуючися з виразів Марксової філософії історії, що тогочасні "продукційні сили" стратенно суперечили "продукційним відносинам", і треба було сподіватися, що настане час незабаром, коли живі заступнини ,,продукційних сил", тобто робітничі верстви англійського народу зважаться твереберть перекинути штучну будівлю гнітючих та суворих ,,продукційних відносин".

До сії боротьби за нові форми життя найбільш причинилося вилланство. Я вже зазначив, що заміна феодальних натуралій, тобто усякого роду панцизняних робіт, грошовими дплатками почалася ще задовго до чуми 1348 р. Після чуми сей процес не тільки не спинився, а навпаки ще поширився, хоч лорди й не бажали того, бо саме тепер були страшенно дорогі сі обов'язкові для виллана-кріпака панщизняні повинності. Сталося так через те, що виллани не гірш од вільних робітників розуміли стан річей, ту силу, яку їм надало эменшення людности, й почали тікати з манору. Звичайно, як на виллана, що його закон спокон віку прив'язував до землі, се вважалося за гірше злочинство, аніж утікання вільних робітників за межі своєї округи, яке заборонялося тільки-но Статутом 1350 р. Отже сі втікання вилланів дуже часто бувають у другій половині XIV століття, вказуючи на те, що трудящий клас, вилланство, твердо рішив революціонізувати старий лад, притьмом скинути його.

Не дивно отже, що сила обставин примусила лордів робити всякі полегкости, аби тільки утримати своїх стародавніх вилланів у власних маєтках, і ми справді бачимо з тогочасних джерел, що саме в період 1350—1380 рр. найбільше пішло на викуп старої панщини, як се видно добре з останньої праці Педжа на англійській мові. \*) Лордам се було не до вподоби; вони почи-



<sup>\*)</sup> End of villainage in England (Кінець видланства в Англії), 1900, стор. 59—65. З 126 манорів, які приводить Педж, тільки-но у 22-х усю роботу панцизняною працею роблено, у 25-х тільки-но половину роботи, у 39 манорах мало панщини, і зовсім ії нема у 40 манорах.

нають оддавати в аренду свій домен, що його сами раніш обробляли, або ж запускають свої лани під пасовиська. Отже там, де було можна й де лорди були досить сміливі, щоб не шукати ласки у своїх вилланів, вони вимагали від їх виконування геть усіх тих обов'язків, які тісно були сполучені з станом вилланства. Почалася боротьба. Так само, як вільні робітники змагалися за добру платню з старостами лордів і силкувалися не признавати робітничого Статуту, виллани й собі змагалися за свою волю, часто зрікалися усим селом робити на пана вилланську паншину й вимагали собі вільної праці за вільну платию. Виллани виявили таку впертість і таку рішучість у своїх домаганнях, що парламент мусів видати новий статут, щоб запобіти "нечуваному" лихові. От як заговорило роздратоване упертістю трудящих класів англійське заможне громадянство в сім новім законодатнім творі, що його видано у 1377 році, за 4 роки перед повстанням. Лорди манорів так само, як і "отці святої церкви", ремствують на своїх вилланів, кажучи, ,,що геть усіх кріпацьких обо'вязків, які вони мусять робити за себе так само, як і за свої земельні участки, що держать їх од лордів-вони цілком і рішуче зрікаються й не хотять підлягати арештові або якій иншій карі, до якої їх буде присуджено; навнаки, вони ще похвалки чинять на прикажчиків своїх лордів, заміряючись убити або ж покалічити їх; а що найгірш, збіраються по великих шляхах і тамечки змовляються, щоб кожне допомагало другому противитися лордам силою, і багато инших прикростей чинять вони гріховно на превелику шкоду своїм лордам і тим самим призводять і других до таких само бунтівницьких учинків; як що не запобігти гаразд і яко мога швидче оцім бунтаціям, велике нещастя-боронь Боже!-може скоїтися по всьому королівству".

Сей статут ухвалив послати спеціяльні комисії з мирових суддів, щоб вони переглянули ремствування лордів і покарали ,примърно" бунтівників. Про діяльність сих комисій нічого не відомо. Знаємо тільки те, що Бог не оборонив лордів і ,,велике нещастя" незабаром таки сталося. Сим ,,нещастям" було велике повстання 1381 р., коли народ по цілому просторі англійського королівства одностайно скинув із себе кріпацьке ярмо.

#### IV.

Матеріяльні умови життя, як бачимо, дуже добре складалися для англійського селянства, як і взагалі для трудящих класів. Зміна економичної підвалини виразно підкреслила неминучість зміни юридичної "надбудови", яка колись цілком була прилагоджена до патріярхальних економичних умовин. Але, щоб перевести в життя нові змагання, які інстинктово охопили хоч і яку численну людність, повинна була повстати ідёя, що з'єднала б усі нові поривання в гармонійну систему, надала б силу інстинктовим почуванням, сполучивши борців у міцну організацію з ясною метою, з відповідною стратегією й тактикою.

Ідея, яка в той час могла натхнути людям бажання сміливо й рішуче кинутися в боротьбу за кращу долю, прибрала релігійну форму. То була релігійна ідея нового христіянства, яке йшло на зміну старому католицтву, що попсувало за довгий вік свій теоретичну основу євангельської науки і тверезою практикою життя своїх угодованих заступників кололо очі всім, хто прагнув єдности теорії і практики, ідеалу й дійсности. Кращі люде Англії почали критично відноситися до тії церкви, найвищі члени якої жили в роскошах, тим часом як Христос заповідав бідність своїм апостолам; до тії церкви, що оголосила непогрішимим свого верховного голову—папу, хоч би й які між їми повставали раз-у-раз злочинці й роспустники, що вигадала прибутливу сістему "отпущенія гріхів" за невеличку, "сходну", мовляв, ціну.

Реформаційний рух сей складався з кількох течій і єднав у собі багато елементів, між якими не було нічого спільного, крім негативного відношення до католицтва. Тут були люде, які дбали тільки про реформу обряду та організації церкви; були й такі, що неситим оком позирали скоса на багацтва манастирів та церков, щоб "у слушний час" загарбати се добро й тим поліпшити своє й без того добре життя (такий, між иншим, був і той Джон Ланкастерський, що про його вище була мова). Були й щирі захистники ідеї секуляризації духовних земель, тобто, щоб повернути їх на користь світських людей взагалі просто через те, що не годилося церкві дбати про господарство й тим ухилятися від найперших обов'язків своїх та заповідів Христових. Так дивився на справу

великий Вікліф, який перший поклав підвалини реформаційного руху не то в Англії, а навіть у цілій Європі.

Отже були тоді ще й такі релігійні люде, які своїм світоглядом захоплювали більш широкі простори, й виходючи з євангельської науки, далеко радикальніше дивилися на сучасність. І таким був великий агітатор повстанців піп Джон Болл. Свою діяльність він почав задовго до Вікліфа. Ще в 60-х роках XIV століття він говорить проповіді скрізь по країні. Уряд світський і духовний гонить його за негативне відношення до сучасних порядків як церковних, так і державних взагалі, аж поки нарешті його арештовано саме перед повстанням. Виявляючи перед дюдьми церковні непорядки, Болл-сей предтеча Вікліфа-стояв і за секуляризацію манастирських земель, але де далі, то більше Болла захоплювала проповідь соціяльної правди, яка повинна запанувати на землі. Сю ідею нового справедливого життя він доводив, посилаючись на релігійні джерела. Кріпацтво, поділ людей на панів та бідноту, цілком суперечить божому законові, - казав він у своїх палких промовах. Коли почався світ, тоді не було ні рабів, ні панів; усі були рівні, бо всі від одних батьків народилися-від Адама та Єви. Як би Бог хотів сотворити рабів, він ще тоді був би зазначив, кому бути рабом, а кому паном. Отже сього він не зробив, а коли рабство повелося на світі, так тільки-но через те, що нечестиві люде несправедливо пригнічують своїх близьких і тим нищать волю божу. "Чого се ті, яких ми звемо сенйорами, панують над нами? Чим вони заслужили се? Чому вони держать нас у кріпацтві? В чім їх більше право бути панами, крім того, що вони примусом звалюють на нас роботу-дбати на те, щоб сами вони переводили марно? Вони в оксамит та хутра вдягаються, а ми в погане сукно. У їх добрі вина, ласощі та смачний хліб, а ми маємо житній хліб, полову та солому, а водаце едине питво наше. У їх гулящий час раз-у-раз та пишні палаци, а у нас клопіт та праця, дощ та вітер на полі, а тим часом ми своєю працею здобуваємо геть усе, на чім стоїть держава". 1 тільки скасувавши сучасну нерівність між людьми, станову так само, як і матеріяльну, матимемо потрібну правду. "Мої друзі любі, — казав Болл, — нема й не буде ладу в Англії, аж поки всі добра спільною власністю не поробляться, коли не

буде ні виллана, ні панів, а всі ми будемо в гурті жити" 1).

В своїх казаннях катував Болл і політичні нелади Англії: здирство урядовців та всякі надужиття їхні. Не жалував навіть і короля. Народ дивився на Болла, як на пророка божого, праведника, й готовий був іти за їм, хоч би куди він повів його.

Джон Болл—то найвизначніша людина в історії повстанського руху. Та було ще багато й инших духовного стану людей, які, стоячи близько до народу, усією душею спричинялися до народнього руху. Се були "бідні попи" (poor priests), учні Вікліфа, переняті критицизмом свого великого навчителя. Вони поширили його думки що до церковної власности—на всяку власність взагалі і ставали скрізь оборонцями чистого комунізму, росповсюжуючи по всій Англії революційну ідею волі, рівности та братерства. Були ще між сими проповідниками і т. зв. "мандровані ченці" (itinerant friars), які не хотіли що до популярности лишитись позаду "бідних попів". Тодішній поет Лангланд саме про їх каже:

Вони вчили людей по Платону і Сенекою доводили, Що всі добра під небом повинні бути спільні <sup>2</sup>).

Як же відбивалася ця проповідь ідеологів народиього руху на душі численних слухачів? Історія повстання, до якої я перехожу, покаже, що комуністичні ідеали, як того й повинно було сподіватися, знайшли тоді небагато прихильників. Тільки окремі ватажки розуміли вагу свого ідеалу, а маса, народ, стояла на грунті зрозумілого йому знесення кріпацтва, урядових утисків та законів, що парламент позаводив був разом з "лихими совітниками" королівськими. Позитивні домагання маси народньої були: вільне користування з землі й загально-людські права на всіх,—ті права, що вже здобула собі щасливіша частина англійського громадянства, а саме—панство й городянство, переважно заможнє.

Та ж сама історія повстання виявить, що хоча й усі участники сього визвольного руху були переняті єдиним бажанням

Цітую за *Тревсліяном* "Англія за часів Вікліфа" (Trevelyan, England in the age of Wycliffe, 1899, стор. 198),



<sup>1)</sup> Француз-літописець Фруассар: ...les coses ne poent bient aler en Engletière, ne yront jusques à tant que li bien yront tout de commun... (Froissart, Oeuvres, 1X, 388).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) They preach men of Plato and prove it by Seneca, That all things under Heaven ought to be in commen.

збутися старої неправди, але їм бракувало справжньої єдности організаційної, суцільности програми й тактики. Ватажки повстання, духовні так само як і світські, чимало енергії доложили до того, щоб натхнути людям вогонь релігійного ентузіязму в їхній боротьбі за правду, з'ясувати з'убоженим їхнє становище, але вони не спромоглися надати народній опозиції сили непохитно-дисциплінованого війська. До сього спричинилася чимало, звичайно, ріжноманітність інтересів поміж тими лавами людей, що їх посунуло на арену історії велике повстання.

Отже всі ці риси повстанського руху виявилися пізніш, а поки що трудящі класи Англії одностайно простували до широкого шляху громадянського життя, несучи в своїх руках прапор, на якому було написане величнє гасло, що лунало од краю до краю, де тільки жила англійська людність:

> Плугатарем як був Адам, а Єва пряла, Хто паном був тоді?

> > Ів. Бондаренко.

Кінець буде.

# Новознайдені поезіі Т. Шевченка.

Хоча вже 45 літ минуло, як помер Шевченко, а ми й досі не можемо похвалитися, що маємо повну збірку того, що він написав, і ніхто ручитись не може, що хутко її матимем... П'ять літ тему небіжчик О. Кониський видрукував був у "Записках Наук. Товариства ім. Шевченка" кілька незнаних до того поезій (між иншим частину поеми, "Юродивий"), а цього року д. Щоголеву, співробітникові журналів "Былое" та "Историческій Въстникъ", поталанило знайти в Петербурзі, серед паперів, узятих у Шевченка під час арешту, кінець "Івана Гуса" та, як відомо нам приватно, ще й нові поеми: "Сова" і "Дівочії ночі"... 1) Чи не пощастить ще де-небудь



<sup>1)</sup> Масмо надію, що ці нові поеми незабаром подамо нашим читачам. Ped.

знайти якісь нові, незнані досі твори Шевченка---не можна вгадати. Про те, що "Гус" був викінчений і кінець його загублено—усім було відомо; про те, що Шевченко написав був якийсь вірш "Сова"-також знаемо з листу князівни В. Ріпниної до Шевченка з 20, XII, 1844, в якому вона пише: "Обрадуйте его (А. Лизогуба) и всъхъ любителей малороссійскаго языка вашей "Совой ", -і дійсно, як нам переказують, ,,Сова має дату 6-V 1844. Про "Дівочії ночі"-досі ми нічого не чули, а за те маємо вказівки, що ще перед р. 1843 написаний був якийсь "Човен", якого й заслано в Харьків Корсунові для другого тому збірника "Сніп". 2) Нарешті ще про два твори Шевченкові, незнані нам і досі, довідуємося з його "Дневника". Під 15 грудня р. 1857 Шевченко занотував у йому: "сьогодні беруся за "Сатрапа і Дервиша"; хочеться мені написати епопесю; ця форма для мене зовсім нова. Не відаю, як я з нею полажу"; а під 18 квітня р. 1858 занотовано: ,,Сьогодні я все порався коло своєї "Лунатки". Коли б не пошкодив Сошальський, я був би її скінчив".

Чи скінчив Шевченко оці дві поезії, і чи матимем ми їх коли-небудь?  $^3$ )

Але крім цих більших поезий, про істнування яких документально відомо, дуже лехко може трапитися, що буде знайдено ще не один з дрібніших віршів Шевченка. Один такий, що починається словами "Та головонька моя бідна" подаємо в цій книзі разом з неопублікованим ще варіянтом початку поеми "Княжна". Та для того, щоб усі ці новини поетичного скарбу Шевченка мати вкупі, подаємо тут передруком і кінець "Івана Гуса", видрукований в VI книзі журналу "Былоє" за цей рік.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Кіевская Старина, 1897, II, 167.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Маякъ, 1843, т. IX, гл. V, смѣсь (кн. XVIII, стор. 117—118). Извѣстія изъ Харькова. "А. А. Корсунъ приготовить къ изданію второй томъ "Снопа". Въ этомъ томѣ будутъ помѣщены Щира Любовъ и Божі діти Основъяненка; Черница Марьяна, Човенъ и др. стих. Шевченка; произведенія: Гребенки, Боровиковскаго, Галки, Петренка, самого автора и другихъ писателей; уже по одному исчисленію статей можно судить, что этотъ томъ литературнымъ достоинствомъ далеко превзойдетъ первый" за виписку цю з "Маяка" щиро дякую І. І. Любову).

 $<sup>^{3})</sup>$  Можна здогадуватися, що "Юродивий" і есть частина з "Сатрапа і Дервища".

I.

## "Іван Гус або Єретик".

Що поему "Іван Гус" написав Шевченко року 1845, про це ми знали досі досить повно, хоч певнішої дати написания (10-Х) та місця (с. Марїнське, Миргородського пов., у А. А. Лукашевича) не знали. Відомо лишень було, що поему пю Шевченко присвятив Шафарикові, і що дата посвяти—, 22 листопаду р. 1845 у Переяславі"; але, звісно, посвяту міг написати Шевченко багато пізніше од самої поеми. Коли Шевченка арештовано (р. 1847), то всі папери його, між иншим і чистенько переписаний зшиток віршів під заголовком "Три літа" (тобто поезії з р.р. 1844— 1846), з передмовою 1), очевидно виготований для цензури, забрано й одіслано до Петербургу в так зване "Ш Отдівленіе". Там вони лежать і досі, й досі ще ніхто в цілості їх не використав,--аж тепер маємо надію, що це станеться. Там от зберігається й увесь "Іван Гус", який відомий був досі без кінця. Та й ту частину, що ми знали досі, розшукано було лишень при кінці р. 1857 чи на початку р. 1858, бо в місяці лютому р. 1858 приїхав до Петербургу Грицько Галаган і привіз Шевченкові з Москви від Максимовича знайденого там у когось "Єретика". Шевченко був певен, що поема та на-віки пропала. Він зрадів тій знахідці, а 5 квітня того ж року писав до Максимовича, щоб той попрохав Бутенева, чи не знайде він і другої половини поеми, "бо без неї нічого не влієш".

Доля пожартувала, й цілих 48 літ довелося громадянству українському дожидати, поки нарешті увесь "Гус" з'явиться. Безперечно, придбання це для української літератури велике, коч для ще більшої слави Шевченка, —особливо, коли взята на увату ті надії, які будив у всіх початок "Гуса", —не дає воно нічого: кінець, особливо допит Гуса, змальовано не з такою силою, як того ми сподівалися; та й з околишнього боку знати, що Шевченко менше подбав над цею частиною поеми, як над початком. Отся власне обставина й насуває пам де-які здогади: чи справді

<sup>1)</sup> Передмову цю, дуже характерну, вперше видруковано в "Збірнику фільолог. секції Н. Тов. ім. Шевч." т. IV (О. Кониський. Т. Шевченко), стор. 204, пр. 2., а передруковав я її в "Громадській Думці", ч. 162.

це не навмисно так лучилося, що як раз та частина поеми, яку треба вважити слабшою, загубилась була? І через що воно так сталося, що у сина того самого Шафарика, якому послано було поему, над якою він, читаючи, "плакав вдячними сльозами"—також не знайшлося кінця поеми? Чи не послав Шевченко поеми як раз без цього кінця, послухавши поради приятелів—Лук'яновича, Чужбинського, яким він читав цю поему, скоро написав її? Ми навіть маємо згадку Чужбинського про те читання: "В першій поемі ("Іван Гус") Тарас піднявся до свого апогею; містерія ж ("Великий Льох") змістом своїм була слабша за "Гуса"... 1) Коли так гостро говорить він про "Великий Льох", то ледве, чи кінець "Сретика" йому припав би до вподоби... Зрештою, це лишень здогади одні.

У всіх друкованих виданнях "Кобзаря" відома досі частина поеми кінчається на тому, як у Констанц з'їзжається усякий люд, щоб засудити Гуса:

Як та галич поле крила, Ченці повалили До Констанцу: шляхи, степи Мов сарана вкрили,—

## на цьому й край, а далі вже йде новознайдений текст:

Барони, герцоги і дюки
Псарі, герольди, шинкарі
І трубадури (кобзарі),
І шляхом військо, мов гадюки.
За герцогинями—Німота:
Хто з соколами на руках,
Хто пішки, верхи на ослах,—
Так аж кишить: все на охоту,
Мав гад у ірій, поспіша!
О чеху! де твоя душа?
Дивись, що сили повалило,
Мов Сарацина воювать
Або великого Аттілу!

<sup>1)</sup> Воспоминанія Чужбинскаго, стр. 13.

У Празі глухо гомонять, І цесаря, і Вячеслава, І той собор тисячеглавий У голос лають,—не хотять Пускать в Констанц Івана Гуса! "Жив Бог! жива душа моя! Братй, я смерти не боюся! Я докажу отим зміям! Я вирву їх несите жало!..." І чехи Гуса проважали, Мов діти батька...

Задэвонили у Констанці Рано в усі дзвони. Збіралися кардинали, Гладкі та червоні, Мов бугаї в загороду, I прелатів лава; І три папи, і баронство, І вінчані глави,---Зібралися, мов Іуди На суд нечестивий Проти Христа. Свари, гомин: Те реве, те виє, Як та орда у таборі, Або жиди в школі... I всім разом заціпило! Мов кедр серед поля Ливанського, — у кайданах Став Гус перед ними І окинув нечестивих Орліми очима. Затрусились, побіліли, Мовчки озирали Мученика. -- "Чого мене---Чи на прю позвали? Чи дивиться на кайдани?"

"Мовчи, чеше смілий!..." Гадюкою зашипіли, Звірем заревіли. "Ти єретик! ти єретик! Ти сієш розколи, Усобища розвіваєш 1), Святішої волі Не приймаєш!... Одно слово-Ти Богом проклятий! Ти єретик, ти єретик!" Ревіли прелати: "Ти усобник!... Одно слово— Ти всіми проклятий!" Подивився Гус на Папи Та й вийшов з палати... "Побороли! побороли!" Мов обеленіли... "Авдо-да-фе! авто-да-фе!" Гуртом заревіли.

І цілу ніч бенкетовали Ченці, барони—всі пили І, п'яні, Гуса проклинали Аж поки дзвони загули. І світ настав. Ідуть молиться Ченці за Гуса. З-за гори Червоне сонце аж горить: І сонце хоче подивиться, Що будуть з праведним творить?

Задзвонили в усі дзвони І повели Гуса На Голгофу у кайданах. І не стрепенувся Перед огнем 2), став на йому

<sup>1) &</sup>quot;Розвіваеш"—од слова "віяти", "розвіяти"...

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Спочатку було—"костром" (прим. ред. "Былого").

I молитву діє: "О Господи милосердий! Що я заподіяв Оцім людям, твоїм людям? За що мене роспинають? Люде, добрі люде! Молітеся! неповинні <sup>1</sup>) I з вами те буде! Молітеся! Люті звірі Прийшли в овніх шкурах. І пазурі розпустили— Ні гори, ні мури Не сховають... Розіллється Червонеє море Крові, крові з дітей ваших... O rope, rope! Он де вони, в ясних ризах! Іх лютії очі: "пали! пали!" Уже крові... "пали! пали!" Крові, крові хочуть, —2) Крові вашої! ... І димом Праведного вкрило. "Молітеся! молітеся! Господи помилуй, Прости Ти їм, бо не знають!..." Та й не чути стало... Мов собаки, коло огню <sup>8</sup>) Кругом ченці стали—

Іх лютії очі: "Пали! Пали!"—уже крові, Крові, крові хочуть.

В. Д.

<sup>1)</sup> Здається, що інтерпункція повинна бути инакша, а власне: "молітеся, неповинні". В. Л.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ясно, що в цих 4 рядках, "пали!" "пали!" вдруге, зовсім зайве, і коли його опустити, то й думка стане ясніша, і метр збережеться. Очевидно, що треба

<sup>&</sup>lt;sup>а</sup>) Спочатку було—"кругом костра" (Прим. ред. "Былого").

Боялися, щоб не виліз Гадиною з жару Та не повис на короні Або на тіарі. Погас огонь, дунув вітер I попіл розвіяв. I бачили на тіарі Червоного змія Прості люде. Пішли ченці Й Te Deum співали, Розійшлися по трапезах І трапезували І день, і ніч, аж попухли. Малою сім'єю Зійшлись чехи; взяли землі Зпід костра, і з нею Пішли в Прагу. Отак Гуса Ченці осудили— Запалили... та Божого Слова не спалили, — Не вгадали, що вилетить Орел із-за хмари, Замість Гуса, і росклює Високу тіару. Байдуже ім-розлетілись, Мов тії ворони З кровавого того свята; Ченці і барони Розвернулись у будинках I гадки не мають: Бенкетують та инколи Те Deum співають. Все зробили... Постривайте, Он над головою Старий Жижка з Таборова Махнув булавою!...

10 Октября, 1845.с. Мар'їнське.

#### II.

### Варіант початку поеми "Княжна".

Насамперед-коли написано цю поему? Небіжчик Кониський свого часу висловлював гадку 1), що поему цю написав Шевченко ще р. 1846, хоч сам він признається: "але жадних доказів я на те не маю". "Княжну" в виданнях "Кобзаря" р. 1867 та р. 1876 зарегістровано до р. 1847 (до заслання), а в виданні р. 1883деренесено до другої половини р. 1847. Далі, в тій же самій статі своїй Кониський подає звістку, що поема "Княжна" була переписана у його діда Феоктиста Ротмистрова в Чернигові, і він, Кониський, р. 1848 знав її добре й читав з голови, не відаючи, хто її автор. Завважу ще лишень одно: що під початком поеми "Зоре моя вечірняя" в "Кобзарі" поставлено дату 24 февраля 1858, і на цій підставі, напр., Кониський запевняє, що немає жадної вказівки думати, що се справді початок "Княжни"; се, на його думку, швидче окремий самостійний твір. Я маю безперечні данні, які свідчать, що Кониський помилявся: в Чернігівському Музеї В. Тарновського зберігається автограф цеї поеми, тим більш цінний, що очевидно-це брульон, що містить в собі першу редакцію поеми; в другій і третій редакції поема ця есть також в автографах д. В. Науменка, -- тих самих "захалявних" книжечках, які "мережав" та "начиняв віршами" Шевченко на васланні. Але у всіх трьох редакціях "Княжна" має своїм початком: "Зоре моя вечірняя". Це одне. Друге, що до дати, то "Княжну", а спеціяльно "Зоре моя вечірняя", датовано в "Кобзарі" роком 1858 через те, що Шевченко, переписуючи з своїх ..захалявних" книжечок вірші в чистий альбом (у Нижньому Новгороді р. 1858) під переписаними творами ставив дату переписания, а не написання, через що багато поезій, що написав він, напр., р. 1847-8 виступають в "Кобзарі" з датою р. 1858 або навіть і 1860... "Княжну", безперечно, написано не пізніш, як р. 1847, і нею починається невільницька поезія в книжечках Шевченка. Але що вона написана не до заслання, а вже на засланні-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Записки Н. Тов. ім. Шевченка. Т. VIII. Проба улаштовання хромології до творів Шевченка, стор. 15.

свідчить за те перша редакція поеми (в Чернигів. Музеї) першими ж рядками своїми:

> "Зоре моя вечірняя! Зійди над горою, Поговорим над Уралом В неволі з тобою...

В тому ж таки самому зшитку Шевченко поправив "над Уралом" на—"на чужині", а згодом, в дальших редакціях, виправив на "тихесенько". Очевидно, що до заслання Шевченко не міг написати: "над Уралом".

От у тій самій першій редакції, якої досі ніхто не обслідував, до початку І розділу ("Село! і серце одпочине")—є зовсім відмінний варіянт, який я й подаю тут поруч звичайного тексту (за підставу беру Львівське видання Ю. Романчука з р. 1902):

#### Звичайний текст.

Село! і серце одпочине. Село на нашій Україні— Неначе писанка село. Зеленим гаєм поросло, Цвітуть сади, біліють хати, А на горі стоять палати, Неначе диво, а кругом Широколистії тополі, А там і ліс, і ліс, і поле, І сині гори за Дніпром... Сам Бог вітає над селом!

Село! село! Веселі хати! Веселі здалека палати— Бодай ви терном поросли! Щоб люде й сліду не найшли, Щоб і не знали, де й шукати.

## Перша редакція.

Село!... і серце замірає. Неначе в раї, в темнім гаї

Сади вишневі зацвіли...
А що там робиться в селі,
У тім веселім тихім гаї!
Там... воля! рай! Та що й казать!
Лани і люде, і корови,
І предковічнії діброви
І все—моє: все можна брать,
І можна жидові продать
З душею й тілом... Правда, воля?
А ми ще й Бога гнівимо...

Далі, після слів: "щоб і не знали (люде), де й шукати", в першій редакції єсть 7 рядків вставки, якої ні в однім з видань (та і в другій та третій редакції) немає. Ось вона:

"Бо люде... Дивні чудеса
Твориш Ти, Господи, над людом
І над Собою!... Падло пса
На смітник викинь—не огудять,
Неначе мухи опадуть,
Сами себе перегризуть
Та ще й хвалить і славить будуть...

#### III.

## "Та головонько моя бідна".

Невеличкий вірш, усього на 10 рядків, написаний олівцем на двох сторінках аркушу почтового паперу, на якому хтось списав пісню про коня та козака,—і під нею поставлено дату: Кієвь, 1859. На чистій, не записаній четвертій сторінці Шевченко й написав олівцем свій вірш. Коли пригадаємо, що в серпні того ж таки р. 1859 Шевченко був, в-останнє вже, в Київі, то з делякою дозою правди можемо допустити, що він тоді й вірша цього написав на записові української пісні.

Вірш сам із себе не дуже цікавий, — переспів народньої пісні. Читаючи пісню, що йому хтось записав, Шевченко, либонь, під впливом її написав і свою: "Та головонько моя бідна: Чого моя мила зблідла? Чи пшеницю жала, Чи ячмінь в'язала, Чи в недуженьки (sic) лежала?" "Була на риночку — Пила горілочку, На похміллячко лежала, З родиною зійшлась — Горілки напилась"...

Зберігається автограф у Музеї В. Тарновського в Чернігові (№ 33).

В. Доманицький.

## АНАТОЛЬ ФРАНС.

## Г. БРАНДЕСА.

I.

Правдивого письменника ми пізнаємо з того, що на кожній сторінці його творів знайдеться принаймні одна фраза, один зворот, які тільки він міг написати.

Візьміть тільки фразу: "Коли вірити цьому мирному пастиреві душ, то ми ніяк не можемо ухилитися від божеської благости, і всі попадемо в рай, хиба тільки що немає раю, а це в найвищій мірі можливо".

Вона говорить про Ренана, її написав певне ученик Ренанів, який шуткує, може трошки вільніше, ніж він сам. Більше нічого не можна сказати.

Але візьміть инше: "Вона була вдовою після чотирьох чоловіків,— страшна жінка, яку підозрювано у всьому, тільки не в тому, щоб вона когось любила, через те її шановано та поважано". Тільки один чоловік міг написати це... Він жартовливо доводить, що громадянство прощає жінці все, опріч кохання, він повідомляє читача про ці спостереження, ніби між иншим. Або дя фраза: "Ми не повинні любити природу: вона не варта любови; не повинні також ненавидіти її: вона не заробила ненависти. Вона — все. Це велика незручність бути всим. Через де робишся страшенно важким і неповертким".

Тільки  $o\partial un$  чоловік міг би виправдовувати природу за її індеферентність до людей таким виразом: "Це велика незручність бути всим".

Прочитайте таке місце: "Думати—це справжнє лихо. Нехай тебе Господь криє від його, сину мій, як зберіг від його своїх найбільших святих та духів, яких улюбив з особливою ніжністю й судив їм довічнє раювання".

Це говорить аббат і товорить без проблиску іронії. У іронії тут подвійний екстракт. З-за серйозности аббатової проступає усміх авторів.

В своїй іронії він дужий, як мало хто. Він говорить: "Ці-церон був у політиці уміркований найневгомоннішої вдачі".

В своїй сатирі він мальовничий, як мало хто. Ми всі вживали фразу: "Рівність перед законом—це значить: перед законами, які заможні люде дали вбогим, і мужчини дали жінкам". Ми запевняли, що ідеалом справедливости повинна бути проведена до кінця нерівність перед законом, але пристосована до ріжниці між індивідуумами. Ми говорили: "Коли нерівність є вже в законі, де ж тоді шукати рівности?"

Та коли читаеш: "Закон у своїй величній рівності забороняє багатим так само, як і вбогим, спати під мостами, старцювати на вулицях та красти хліб", то почуваєщ, що тільки один чоловік міг це написати.

Цей единий чоловік—Анатоль Франс. Вражає в цьому стилі іронія. Вона показує в йому духовну парость Ренанову. Але, не вважаючи на кревність із ним, іронія Франсова цілком иншої вдачі. Ренан говорить завжде від себе, коли виступає істориком або критиком, а в вигаданих дієвих особах з його філософських драм, а ще більше з його філософських діалогів чути безпосередно його самого. Іронія Франсова ховається за простодушністю. Ренан маскується, Франс перетворюється. Він пише, виходячи з поглядів зовсім протилежних його власним,—поглядів старого христіянства та середньовічного католицтва і, читаючи те, що він говорить, ми бачимо, що він під тим розуміє.

Инші письменники можуть бути так само дотепні, можуть бути, або здаватися так само тонкими в своїй іронії і все-таки вони з ним не схожі. Це те саме, як би в найкращий магазин фарфорових виробів принести річ з иншої фабрики, таку ж бездоганну, так саме гарно розмальовану. Приказчиця зважить її на руці, подивиться на неї і скаже: "це инша маса".

Коли говорити про Франса, то треба пошукати маси, що мала б таку саму вартість, як і та, що її малювати навчився він, тридцять і шість років працюючи.

#### II.

Анатоль Франс не молодий вже; але слава його, коли рівняти до инших, нова. 16 квітня 1904 року йому скінчилося 60 років; та ледві чи минуло одинадцять з того часу, як його можна стало славетним узивати.

Зовсім молодим почав він писати дрібні літературно-історичні етюди та гарні вірші, але йому було 37 років, коли він уперше звернув на себе увагу своїм невиним оповіданням "Злочинство Сильвестра Боннора", а свою орігінальність він довів не раніше як 1892—93 року.

Тè, що він довго зоставався в затінку, залежить від того, що його розвиток на шляху до повної самобутности йшов поволі. У його не ставало сміливости бути цілком самим собою; його треба було збоку заохочувати. Це одно; друге, це виясняється тим, що на передньому плані стояли такі визначні повістярські таланти, новеллісти, які тепер уже зникли, напр. Мопасан, Доде, Золя; тим, що таланти такі як Бурже, Гюисманс віддалися клерикалізмові, такі, як Жюль Леметр—націоналізмові, такі як Ерв'є— театрові. Не менше від цього всього також іще й тим, що зник великий артист стилю, що його спадщину він приняв—Ернест Ренан.

Тільки тоді, як помер цей тонкий скептик та екзальтований прихильник думки, що за його слідом він пішов, і тільки тоді, коли замовкли плодючі, еротичні поети, книжки яких робили найбільшу сенсацію,—місце кругом їхніми руками посаженого дерева

знаття добра і зла так спорожнилося, що сонце могло на його світити і його стало звідусіль видко.

Ті французи народилися в провінції: Доде та Золя в Провансі, Мопассан в Нормандії, Ренан у Бретані, Ерв'є в Нёл'ї, Бурже в Ам'єні; Гюйсманс був зроду нідерландець. Франс, у якого увесь гарт був ніжніший і вже з самого початку не такий, як у провансальців та нормандців міцний, народився в Парижі і має на собі печать його.

Його вчитель Ренан став парижанином тільки на прикінці віку свого, коли втратив бретонські прикмети й перестав бути учеником німців. Франс був парижанином з перших своїх ступнів.

Світ і повітря Парижу були спочатку його життевою атмосферою, Люксембургський сад був йому природою Франції, а вулиця—тією інституцією, де він виховувався. Дитиною він бачив, як молошниці розносили молоко, а парубки вугіль по всіх будинках в Латинському кварталу. Він знає, як ніхто, парижських крамарів та робітників. Вікна в паперових магазинах приковували його погляди своїми малюнками і свою найпершу освіту він здобув, переглядаючи скриньки вбогих букинистів на набережжу Сени.

Він сам був сином такого вбогого книгаря, або краще сказати помішника книгаря. Народився він у книгарні, виховався серед старих розумних книжок, таємничих пам'ятників того життя, що вже минуло. З їх він рано довідався, яке недовговічне істнування, як мало лишається з праці цілого покоління, і через це народилося в йому ціле джерело меланхолії, добрости та співчуття.

Дивно, яку безліч дрібних книгарень він описав і парижських і по-за Парижем! Він описав і книжки, що в їх були, і людей, що приходили в ці магазини, й розмови, які там були. Знову і знову спиняється він на відомих букинистах з берега Сени, що бачуть у йому тепер свого генія-заступника, оповідаючи про їхне мизерне істнування, про те, як вони цілими днями вистоюють на холоді та на дощі, хоча їм так не часто доводиться що-небудь продати.

Нас, яким ні один з теперішніх французів не здається в такій мірі французом, як Анатоль Франс, бо він єднає в собі всі традіції від оповідачів середніх віків через Монтеня до Вольтера, нас не дивує, що замість свого власного ймення, він сміло взяв імення свого рідного краю. Але Франс—це було також ім'я його хрещеного батька, його звали Франс Тібо. Для простолюду з тієї вулиці, де він живе, в маленькій аллеї Villa Said, він, одначе не Франс. Прості люде називають його Monsieur Anatole.

Він ніколи не забуває про прибережні вулиці Сени. В одному місці він говорить: "Я виховувався на набережжі, серед книжок тихих та простих людей, про яких тільки я сам пам'ятаю. Як я вмру, можна буде подумати, що їх ніколи й не було на світі".

В иншому місці він називає ці вулиці на греблях рідним краєм усіх людей, що думають та мають смак.

В третьому місці він говорить: "Мене вигодувано на набережжі, де старі книжки переплутуються з ландшафтом. Сена зачаровувала мене... Я захоплювався річкою, що вдень відбивала небо та носила на собі човни, а впочі вкривалася дорогоцінним камінням та яскравими колірами".

Він був і зостався книголюбом.

Одна з рис, що насамперед вражають читача Франсових творів—це зовсім надзвичайна, як на романиста та новеллиста, книжна освіта й характер цієї освіти. Серед французьких письменників ми звикли до невчених, з чисто французькою освітою, до вихованців нормальної школи з однобічно-класичною освітою та до вчених з освітою європейською. Але у Франса багата, повна освіта придбана в Європі, з якої виключені германські народи. Він не знає ні англійської, ні німецької мови. В цьому основна протилежність між його освітою та Ренановою. Але в його цю вадуне так помітно, як у инших.

Ренан був східнім філологом; семитські мови були йому полем; німецька наука вигодувала йому розум. Що Франс знає надзвичайно гарно, так це латинську та грецьку старовину, але також і латинську та італійську середньовічну літературу. Через те він, між иншим, гарячий оборонець класичної шкільної освіти. "Я почуваю,—каже він в одному місці,—страшенну любов до латини. Без неї довелось би сказати "прощай" красі французького генія. Ми—латинці. Молоко вовчиці—найкраща частина нашої крови".

Що він особливо збагнув, так це епоху перелому, коли христіянство боролося в античних душах з поганством, потім усі христіянські легенди, які він уміє переказувати з наївністю та добре

схованою іронією, нарешті історію італійської, а надто французької минувшини аж від часів Цезаревих і до XVIII віку, якого початок живе в його "Королеві Лебеді".

Дуже часто його вмілість концентрується коло релігійних настроїв та почуваннів. І тут найбільше гостро виявляється протилежність між їм та Ренаном. Бо, коли в душі у цього жили звичайно релігійні вагання, а в способі вислову часто помітно було єлейність,—Франс, не вважаючи на позверховну пошану, з якою він трактував релігійні теми, такий же тверезий в глибині своєї істоти, як Вольтер.

До цих малюнків минувшини прилучилися на останньому ступіні його розвитку картини Франції за наших часів і навіть з портретами особ, які ще так недавно заставляли про себе говорити, як наприклад Верлен та Естергазі.

Але не сучасному життю належать його головні поетичні та особисті симпатії. Одного разу, коли він показував свої книжки одному гостеві й той здивувався, що їх не так багато, як він думав, і що між ними немає, здається, нічого сучасного, Франс одновів: "У мене нема сучасних книжок; я не зоставляю в себе тих, які одержую; я одсилаю їх одному приятелеві на село (Приятель на селі був, мабуть, одним з тих дрібних книгарів над Сеною, яких Франс так добре знає).—Але хиба вам не цікаво з ними знайомитися?—"З моїми сучасниками? Ні! Те, що вони можуть росказати мені, я й сам чудово знаю. У Петронія я швидче можу чогось навчитися, ніж у Мендеса".

Через це Франс, бувши кілька років фельстонистом Le Temps, напевне мабуть з великою неохотою зважився взятись за критику сучасних йому творів. Тим часом, чотирі томи, в яких він зібрав свої статтї, дуже цікаві. Франс з самого початку й до кінця запевняє, що критик ніколи не може давати об'єктивної критики, а тільки особисту, що він ніколи не може малювати щось, опріче самого себе, тим коли він говорить про Горація або Шекспіра, це значить тільки, що він з приводу Горація або Шекспіра говорить про себе самого.

Франс через це завжде й говорив про себе: "Я маю надію, що коли я говорю про себе, кожен думає про свою власну особу". Як критик, Франс росказував свої особисті вражіння й любив переплітати їх з оповіданнями найчастіше про випадки з свого ран-

нього дитинства та молодих літ, що іллюстрували та поясняли ті його вражіння. Критиком в більше точному розумінні він не був і скоро книжки його почали більше расходитися, він залишив критику. Але все ж його погляди в цих чотирьох томах дуже характерні для його особи; вони виявляють його дотепність, його передсуди,—передсуди, від яких він потім визволився.

Франсів приятель, якому він відповів: "У мене дома немає сучасних книг",— спитав його усміхаючись:— "Навіть ваших власних?"

- Нема й їх, —відповів Франс. —Те, що чоловік сам збудував, хоч би це був навіть і палац, таке йому знайоме, що йому не хочеться на його й дивитись. Мені було б нестерпуче мати в руках свої книжки. Щоб я мав робити з ними?
  - Уникати повторювань.
  - Через те и й повторююсь без перестанку, сказав Франс.

На жаль це правда; це один із звичайних грішків великого письменника. Занадто часто та сама думка вертається у його за малим не в тих же самих словах; иноді він повторюється з однієї книги в другу, сторінка за сторінкою.

Як правдиво змалював себе Франс в особі скульптора з "Червоної Лілеї", це видко буде, як що зважити на тільки що наведену його відповідь і порівняти з нею таке місце. П-ні Мартен-Беллем говорить: "Я не бачу ні одної з твоїх власних праць, ні одної статті, ні одного рельефа". Він одповідає: "Невже ти думаєш, що мені було б приємно жити серед своїх власних праць? Я занадто добре їх знаю; вони мені докучили..."

Що Дешарір не що инше, як Франсова маска,—в цьому автор майже признається в дальших рядках.—"Хоч я й виліпив кілька поганих постатів, усе ж це ще не значить, що я скульптор. Швидче трошки поет і філософ".

#### III.

Літературне життя Франсове, після приступів, які тяглися п'ятнадцять років, роспадається на два періоди й ці два періоди такі неоднакові, що ми наче бачимо в їх двох Франсів.

В першому—перед нами людина, що вміє тонко глузувати, що високо піднявшись над людською юрбою, спостерегає її бажання, її боротьбу з вибачливим та спочуваючим усміхом. В другому—він стає борцем. Мало того, що він виступає, як прихильник відомої партії, він ще починає вірити як раз у те, з чого сам він шуткував та глузував,—в здоровий інстинкт народній, в значіння більшости, в дійсність поступу, що зростає все більше, починає вірити навіть у такі вчення, які, як мислитель, він одкидав: в історію демократії, в соціялізм, як доктрину.

Коли один з його приятелів увічливо, але зважливо, докорив його одного разу, що остання його позіція ледві чи щира, Франс, обходячи саму суть докору, відповів питанням:

— Чи ви знаете якусь иншу силу, крім соціялістичної робітничої партії, що могла б стати до боротьби з об'єднаними клерікалізмом та націоналізмом?

З теоретичного питання він зробив практичне.

Коли приятель його завважив, що сам у такому ж випадкові категорично заявив про практичне приєднання до однієї партії, але, одначе, до її учення не приєднався,— Франс, усміхаючися, звернувся до молодих дівчат, що були при цьому і сказав:

— Ну хиба не правда, що він неможливий? Занадто вже чесний і упертий, як червоний осел!

На протязі більшої частини свого життя, Франс напевне згожувався з своїм аббатом Куаньяром, що ніжно гораує людьми й не підписав би декларації людських прав, ні одного рядка з неї "через гостру та несправедливу ріжницю, яку вона зазначає між людиною та горіллою". Він тоді так як Куаньяр був найбільше прихильний до погляду, що люде—звірі лихі, яких треба силоміць або хитрощами держати в руках.

Ще багато років після того, як він виступив рішучим демократом, він укладає в уста своєму заступникові Бержере такі слова до його собаки: "завтра ти приїдеш до Парижу. Це—славетне і благородне місто. Правда, це благородство поділено не між усіма його мешканцями. Зовсім навпаки. Воно єсть тільки у найменшого числа городян. Але все місто,—більше того,—ввесь народ міститься в кількох окремих людях, що думають сильніше та справедливіше за инших." А далі в книзі, коли Ріке з роззявленою пащею та з блискучими очима погналася за розумним робітником, що лагодив полиці на книжки у Бержере, він так само поясняє собаці, що слава націй залежить не від нерозумних "ура", що вигукуються на вулицях та плацах, а від тихих думок, що родяться де-небудь на горищі і рано чи пізно відміняють зверхній вигляд краю.

Франс не боїться так, як реакціонери—влади народньої. Та хоч він і не боїться її, то не через те, що вважає маси розумними, а через те, що вважає їх обережними. Він знає, що страх перед невідомим робить загальне голосування цілком безпешною установою. Він занадто добре користувався з своїх очей та думок, щоб мати більшу повагу до народньої влади, ніж до всіх инших владарів, перед якими схилялись та до яких підлещувалися на протязі цілих віків. Він знає, що влада належить науці, а не народові. Він знає, що дурниця зостанеться дурницею, коли навіть за неї стоятиме два мілійони, або сорок мілійонів людей і що правди ніщо подужати не може й вона зробиться владаркою на землі навіть тоді, коли її побачить і висловить тільки одна людина й коли навіть мілійони зеднаються і почнуть кричати проти "індивідуалізму" тієї людини.

Франс—не оптиміст, бо він занадто багато бачив навкруги себе занепаду і у Франції, і в Європі, і занадто багато зрадництва, щоб вірити в легенду про безупинний поступ. Він пережив періоди загального занепаду та загальної апатії, коли ніякими острогами не можна було спонукати розуми до думання, а надто до акції. Коли душі прагнуть несправедливости, тоді мало користи пропонувати їм напиток культури, що ніби то прохоложує. В його "Бержере" говориться: "Не лехко заставити пити осла, якому пити не хочеться. "Він знає також, що таке популярність. Не без підстави заставляє він також сказати одного з своїх визначних персонажів: "Як що коли небудь закохана юрба захоплювала вас у свої обійми, то ви хутко мали нагоду бачити безмірність її безсилля та страху".

З властивою йому спокійною дотепністю він через це в одному місці таким способом виясняє, з якої причини в городську раду вибрано було націоналістичного кандидата, а не республіканського. "Націоналістичний кандидат зовсім незнайомий був з черговими питаннями, і це неуцтво допомогло йому дуже; через це красномовність у цього кандидата стала вільною та лехкою. Республіканець навпаки: глибоко розглядав питання дійсности з'окрема; хоч він і знав свою публіку, та все ж трохи вірив у інтелігентність своїх виборців, мав до них трохи пошани, не відважувався на занадто грубі дурниці, а давав правдиві пояснення. Через це він здався холодним, невиразним, нудним, і його не вибрано".

Але з другого боку у Франса нема також і пессимизму. Він знає і говорить про сучасну Францію: "Безсилі не праві. От у чому вся наша мораль, мій любий! Ви думаєте, що ми стоїмо за Польщу або за Фінляндію? Ні, ні! Ми не граємо на струнах цієї гитари." Але він знає, що світ зрештою належить не узброєному насильству. Одна беззбройна, гола думка сильніша за все й за всіх. Вона скидає дужих та жорстоких. Вона доганяє несправедливість і розбиває її до щемту. Слово перетворює землю. Ніщо не може порвати з'язку між сильними доказами та високими думками, і проти їхнього натиску не встоїть ніяка фортеця.

Спокійний учитель Бержере непохитно переконаний, що в кінці таки розум переважить. "Мрії мислителів завжде будили людей діла, а вони здійснювали думки мислителів. Наша думка творить будуччину. Державні діячі працюють по планах, які ми лишаємо, вміраючи."

Пілком зрозуміло, що будуччина схована від нас. Але, як знаходимо у Франса, ми повинні працювати над нею так, як ткачі виробляють гобелени,—не бачучи малюнків, які вони тчуть. І навіть не зовсім справедливо, що будуччина схована; або коли вона й схована від нас, то можна в'явити собі більш розвинені істоти, для яких вона по суті не відріжняється від минувшини та сучасности. І тим лекше нам уявити собі істоти, що одночасно відчувають з'явища, які нам здаються відмежованими довгим періодом, так само, як уже ми сами, дивлячись на вночішнє небо, схоплюємо одним поглядом світові проміні, що вийшли на протязі сотень тисяч років із ріжних небесних сфер.

На людину з таким складом думок можуть заявити права обидва табори—і радикальний, і консервативний, приближно так, як було деякий час на півночі з Ібсеном.

Франса раховано до консервативного табору.

Ще 1897 р. він був кандидатом консервативної партії, кандидатом герцогів в академію проти ворожого клерикалізмові письменника—Фердинанда Фабра.

З своїм тактом і почуттям міри він ненавидів тоді Золя, що пізніше став йому товаришем, ненавидів його, треба признатися, досить непомірковано. Він писав: "Я не заздрю його огидній славі. Ніколи ні одна людина не силкувалася так принизити людськість, відкидаючи все, що есть доброго, гарного. Ніколи ніхто в такій мірі не помилявся що до людського ідеалу."

В цих словах було більше любови до гарного смаку, ніж чуття геніяльности. Треба віддати справедливість Франсові—пізніше він спокутував як ці, так і багато схожих до цього поглядів; спокутував між иншим чудовою теплою промовою, яку сказав на могилі Золя. І так само, як він цілі роки через те тільки, що в того не було смаку та траплялись прибільшування, так само, як не признавав генія в чоловікові, якому судилося стати його найближчим товаришем,—він з другого боку занадто вже хвалив людей, з якими йому судилося боротися, мовляв, до загину, з обмеженістю яких та вадами йому потім добре довелося познайомитися.

Він писав цілком серйозно: "Я не думаю, щоб можна було колись більше інтеллігентними зробитися, ніж Поль Бурже та Жюль Леметр у наші часи."

Він не розумів тоді страху Бурже до пекла, не розумів, що у Леметра не стає внутрішньої рівноваги. Цьому пізнішому фанатикові націоналізму він дав таку атестацію: "Він належить до людей, що нікому не бажають зла, до людей, повних терпимости та бажання добра иншим. У його розум, що нічого не боїться, душа, що всміхається; він увесь—милосердя."

Вже тоді, як це писалося, Леметр був злий та дріб'язковий, хоч, може, ще не дійшов до лихих учинків.

Через кілька років він, бувши віцепрезідентом союзу націоналістів, стояв на чолі банди, що держала Дрейфуса на чортовому острові і проповідувала державний замах проти Лубе. Через кілька років Поль Бурже вернувся в лоно католицької перкви і без упину почав нападатися на всяке сучасне змагання, навіть на народню освіту, на освіту робітників. Ось які були Франсови герої інтеллігенції!

В порівнянні з діяльністю цих людей, та позіція, на якій держався Франс останні шість років, навіть повчаюча.



Нехай, виступаючи народнім оратором—діяльність, до якої в його не було прирожденної здатности—він переборщав і висловлювався трошки більш категорично та з більшою вірою, ніж у глибині своєї істоти мав; це не виключає того, що властивість, яка проривається в його за останнє десятиліття є та сама мужність, що ховалася за грою мріями та за метаморфозами поетовими.

Відразу струснув він із себе скептицизм і з'явився з старим блискучим Вольтеровим мечем у руці,—таким саме, як і той, непобіденним у своїй дотепності, грізним ворогом клерікалізму та оборонцем невинности. Але він пішов навіть далі за Вольтера, виявивши себе другом бідноті в великій політичній боротьбі.

Те, що ця мужність вирвалася на простір, виясняється безперечно тим, що вся французька культура і те становище оборонця справедливости, яке вона мала здавна, опинилися, як йому здавалося, в небезпешности через кризис громадської моралі; але навряд, щоб це могло статися без якогось впливу з боку. Більше, ніж хто инший, пособила цьому одна Франсова приятелька, у якої він багато років бував дорогим щоденним гостем, де він почував себе наче в своїй власній сем'ї.

Ця дама, серцеві якої Франсова слава була ближчою, ніж щось инше, з властивим їй розумом і разом запалом, уживала всього впливу свого, щоб заставити його сміливо положити своє ім'я на терези. Це в той час, коли у Франції пробували свою силу кілька вибранців, яких вибрало з одного боку військо, церква, що мають власть, а з другого одурена юрба.

Бувши борцем, Франс і написав два останні томи своєї "Сучасної історії", видав свої промови в Cahier de la quinzaine, промовляв на святі відкриття монумента Ренанові, а також на могилі Золя і зложив передмову до збірки промов Комба.

Це ознака часу, що Франс був тією людиною, до якої звернувся перший французький міністр, щоб познайомити друком французьку публіку з своїм поглядом. Це показує, за яку силу його мають і як рішуче приєднався він до своєї партії.

#### IV.

Франс иноді малював самого себе в своїх книжках. Він бере властиві йому одлюдність та мудрість і творить із їх Бержере. Він бере властивий йому спокійний цінізм і творить з його лікаря Трюбле в Histoire Comique. Він бере своє я, що палко кохає красу, і творить з його скульптора Демартра в "Червоній Лілеї". Він малює себе в тому ж самому романі, майже називаючи своє ймення в особі письменника Поля Ванса (Paul Vence) і це звичайно на те, щоб не помічено, що то Франс; опріч цього, головна дієва особа, скульптор, так само, як він, згадує тут Мері Робінзон, щоб сховати, що вона являється в книзі також англійською поетессою місс Белл, і так само, як він, говорить про Оппера, щоб не можна було сказати, що він археолог Шмолль, що цілком певне.

Коли Ванс з'являеться в салоні героїні, автор зауважає: "Вона вважала Ванса з усіх мужчин, що бували в неї, єдиною людиною з справжнім великим хистом. Вона поважала його ще до того часу, коли його книжки придбали йому таку велику славу. Вона ставила високо його глибоку іронію, його недоторкану гордість, його талант, що зріс у самотині".

I Поль Ванс до такої міри сам Франс, що, коли він в кінці книжки говорить: "Мудрий був той чоловік, що написав: "Дамо людям свідками та суддями іронію і співчуття!" то П-ні Мартен-Беллим відповідає: "Але ж це ви сами написали П-не Ванс!" І це дійсно можна часто зустрінути в його книжках.

Таким способом, глибока іронія є перша властивість, яку він сам за собою визнає.

Ми бачимо, як ця іронія, що не має нічого спільного з іронією Ренановою, тільки просвічує через простодушність другого облича. В "Таісі", наприклад, говориться про героїню, грецьку куртизанку. "Ця жінка з'являлася на празникових гульбищах і не боялася, виступаючи танцівницею, нагадувати своїми занадто гнучкими та штучними рухами про найпалкіші бажання та підбивати до їх". Це пережито так само, як і сказано з погляду ченця. В тому ж самому романі Пафнутій бачить, як чорти мучать людські душі. Ніде оповідач не натякає навіть на вагання або невірря, ніде не говориться, що це були галлюцінації, а не дійсність. Навпаки, "Маненькі зелені чорти проколювали йому губи та горло роспеченим залізом."

Таку простодушність не часто можна зустрінути у французькій літературі. Французька умілість, як загальне правило, не наївна (хоча так каже Лафонтен), а вже у Мольєра на протязі його віку та того, що за ним, цілком свідома. Але наївність могуча, як артистичний спосіб впливу, бо цілком зрозуміло, що на читача лекше зробити вражіння посередніми способами, які вимагають від його самодіяльности, нїж прямими, що не штовхають його злехка і не заохочують ні до чого.

Там, де Франс виступає історичним повістярем, він говорить так простодушно, як говорив би та думав сучасник описаної епохи. Найбільш це почувається в "Кліо".

Хоч який простий зміст "Кліо", але все ж ця книга торкається деяких найбільших у всесвітній історії діячів: Гомера, Цезаря, Данте, Жанни Д'Арк, Наполеона. Із їх змальовані безпосередно тільки Гомер та Наполеон.

Коли "Співак із Кими" з'явився вперше друком, на декого це оповідання зробило вражіння чогось неоправданого. На що було позичати легенду про сліпого або напівсліпого діда? На що було цьому незначному образові, цьому мізерному злидареві, що мандрує з місця на місце, заробляючи собі на хліб своїми піснями, давати могуче Гомерове ім'я? Але після глибшого аналізу згожуєшся, що Франсів погляд був справедливий, і бачиш, яка мудрість схована за цим образом. Адже цей співак дуже добре відповідає тим царедворцям, що їх малює Гомер у своїх поемах, і цілком натурально, що в його помешканні було тісно та низько, як порівняти до помешкання багатого ворожбита, що було як раз поруч.

Таемниця вмілости Франсової в історичних описах лежить у тому, що він думає й говорить в дусі епохи, яку малює, здається, що переймається її світоглядом, засвоює її вірування та суєвірство, її передсуди та погляди,—без найменшої іронії, а також без уданої наївности, але з технікою, яка робить цілком зрозумілою протилежність між світоглядом тих часів, тих країв та нашим.

Так, наприклад, він, малюючи способи стараго співця, знайомить читача з своїм поглядом на те, як з'явилися Гомерови пісні. Коли один царь запрохує його співати, він відповідає, не дуже ухиляючись від правди: "Те, що я знаю про героїв, перейшло до мене від мого батька, а його навчили сами музи. Бо в старовину музи відвідували божественних співців у печерях та по дібровах. Я не буду єднати з брехнею стародавні оповідання. І автор додає: "Так говорив він з обережности. Бо до пісень, яких навчився, ще бувши дитиною, він звичайно додавав вірші, що брав із инших пісень, або знаходив їх у власній душі. Та він не признавався, що сам їх зложив, бо боявся, що його будуть за це докоряти. Пани просили в його переважно стародавніх пісень, які, на їхню думку, зложили боги, а новим пісням вони не вірили. Через те він дбайливо ховав джерело тих пісень, які сам сотворив. А що він був дуже гарним постом і найпильніше додержував звичаїв, що перейшли до його спадщиною, то й вірші його ні з якого боку не відріжнялися від прадідівських. Вони були не гірші за їх своєю формою та красою і з самого початку варті були слави невмірущої. "Як бачите, тут він вихваляє співця в дусі часу як раз за ту властивість, яка на сучасний погляд зменшує його вартість, і з усієї сили він ховає його орігінальність.

Цілком таким саме способом Франс надає рельефности діалогові "Фарінаті дел'ї Уберті". З своїм тонким критичним чуттям він напав на той образ з Дантового "Пекла", що являється найцікавішим з усіх. А тим часом, у цій фігурі єсть елемент, якого немає в Данта, повний контраст між нашим світоглядом та світоглядом Фарінаті. В наші часи за лицарство вважають, коли чоловік воюється за своїх земляків з чужим військом, але за гидкий вчинок, коли піднімає чвари між своїми. Коли Фарінаті обороняє себе за те, що тягнув за Сієною руку проти своїх флорентинських земляків, він говорить: "Було б краще нам, флорентинцям, скінчити цю суперечку між собою. Хатні чвари-така чудова та благородна річ, така велична, що треба було б, яко мога, силкуватися, щоб до неї чужі люде не втручалися... Я не можу сказати це саме про війни з чужоземцями. Це користні, а иноді й неминучі заходи, щоб оборонити або поширити державні межі, або ж щоб спріяти торгівлі. Але тому, хто сам стоїть на чолі такої війни, вона не дає ні великих прибутків, ні особливої чести. У розумних націй їх охоче віддають нанятому військові, на чолі якого становлять досвідчених привідців, що вміють багато досягати з невеличким військом".

Щоб була змога уявити собі цей діалог, можна пригадати відповідний віршований діалог Роберта Браунінга, в якому так і проривається південно-італійський дух. У Браунінга спосіб вислову палкіший, ніж у Франса, більш заплутаний, нерівний, ніби скоками йде. Франс здебільшого робить вражіння простим контрастом між внутрішньою логікою почувань у стародавні часи тав наші.

Найширше оповідання—це те, що зветься "Атребат Комм"; в йому змальовано життя галльського привідця в епоху Цезаря.

Хоча з позверховного погляду здається, що він і тут описує так саме вільно, як і в "Співакові з Кими", але все ж Франс мав для пього твору цілком виразні історичні факти, на які й спірався. Хто пам'ятає добре Цезареві записи про гальську війну, той пригадає, що він нише про короля атребатів Комма. Для тих, кому цікаво було б порівняти Цезарів текст з оповіданням, ми наводимо тут місця джерел: 4 кн. 21 гл.; 7 кн. 76 гл.; 8 кн. гл. 23, 47, 48. Франса приваблювала тут можливість глибоко зазирнути в душу варварові тієї епохи, безжурне спочатку життя Комма, як привідця; те, як римляне спочатку схиляють його на свій бів і його гордості стає приємно, коли його називають Цезаревим другом; потім він примушений вважати для себе ганьбою те, що втратив волю, поки нарешті його почуття до римлян стає дикою зненавистю варвара. Більшість читачів, тільки після того, як познайомиться з цим оповіданням, має справжне вражіння про те, які протилежні були способи воюватися у римлян та у варварів, а особливо про інженірну умілість, якої понавчалися низенькі, смагляві салдати, що воювалися частіше з лопатою та з заступом у руці, ніж із списом та з мечем. Надзвичайно гарно эмальовано здивування та переляк короля варварів, коли він вертається до своєї злиденної столиці Немероценну (тепер Аррас), яку римляне за кілька років переробили на чудове місто з храмами та заркадами, так що Комм мимоволі думає, що вони знають чари. З напруженою цікавістю ходимо ми за ним, коли він, передягнений за старця, блукає по місту; приглядаємося, як він дивується, бачучи малюнки на будинках, сюжети яких йому цілком неэрозумілі, як він убиває молодого римлянина, що сидить в амфітеатрі й пише своїй Фебе латинські вірші грецьким метром. Франс знову досягае тут еффекту тим, що мовчки підкреслює погляди того часу, як протилежні нашим. Наприклад, автор говорить про префекта римського кінного війська Кая Волуцена Квадрата, що рішає запрохати Комма на дружню зустріч, простягти йому руку і звеліти, щоб у той же самий час його зарубано ззаду:

"Він був добрим привідцею, знав математику та механику. Коли не було війни, він розмовляв з начальниками у своїй віллі, під терпентиновими деревами, про закони, звичаї та завички у всяких народів. Він хвалив чесноти колишніх днів, величав волю, читав книжки грецьких істориків та мислителів. Розум у його був зграбний та благородний. А що атребат Комм був варваром, якому чужа була справа римського народу, то він уважав справедливим і розумним звеліти його вбити".

Хоч Цезарь з'являється тут тільки легеньким сілуетом, але тут, як і в инших творах Анатоля Франса, видко, що він його дуже цікавив. Франс дивується йому без теплої симпатії. Його аббата Куаньяра, що віддається думкам про Цезаря, відпихає його жорстокість; тут, звичайно, маються на увазі ті руки, що поодрубувано галлам коло Укселлодонума. Цезарь, одначе, був добріший за кожного иншого римського привідцю. Але, як завше, Франс в одній книзі описує все, що говорить за Цезаря, а в иншому місці все, що говорить проти його.

Цілком так саме віднісся він і до Наполеона. В "Червоній Лілеї" він зупиняється тільки на позверховному болі його природи, при чому доходить до того, що навіть нещасного Наполеона III вважає більше цікавим за його. В оповіданні "La Muiron" (корабель, на якому Бонапарт плив з Єгипту до Франції) підкреслюється, навпаки, нахильність молодого генераліссімуса до містики, його таємнича віра в свою будучність. І Франс вкладає йому в уста глибокі слова: "Від своєї долі не втечеш. Брут, що був пересічною людиною, вірив у силу волі. Високий розум не має цієї іллюзії... Діти уперті. Великий чоловік-ні. Що таке людське життя? Крива лінія, яку робить, летючи, граната". Це говорить Бонапарт у той саме час, коли, твердо вірячи в свою щасливу долю, сміливо пробиває собі шлях через Середземне море проміж англійських крейсерів, що насувають на його з усих боків. Вся ця картинка наче спірається на прочуття майбутньої величности. Але тут, як і всюди, Франс, з певністю великого письменника, обминає дешевий еффект. З резинкою в руці він оглядає всі контури, зглажуючи їх та зм'якшуючи.

Інтересно, що простодушність завсігди складова частина найживіших образів, що творив Франс і гармонізує з простодушністю стилю. Другий елемент—це иноді сильна і, як коли, то досить безсоромна похотливість, проти якої Франс нічого не мас і яку иноді залюбки описує.

Візьміть аббата Куаньяра з "Королеви лебеді": блискучий розум, наївна душа, безсоромне тіло. Візьміть Шуллета з "Червоної Лілеї"—геніяльного, наївного, підупалого, безсоромного. Цей портрет Верлена ще инакше трохи виступає в особі Жеста (Gestas) з "Перламутрового Футляру". У всіх у їх помішано простодушність з цінічним бажанням утіх і напівнаївною безсоромністю.

Аббат Куаньяр ламає все те, що він признав своїм зневіррям, і живе роспустно, хоча міцно держиться за кожну пісчинку в католицькій релігії. Ще наївніший його вихованець Турнброш. Шуллет—старий циган, що цілком спився, завжде молодий, як поет, цілком захоплений піяцтвом та співчуттям до вбогих і малих, цілком так, як говориться про Куаньяра: напів Франциск ассизський, напів епикуреєць, велика, віруюча, безсоромна дитина.

Через це з'єднання в одно наївности й цінізму, собака Ріке і стає одним з найкращих Франсових характерів. Адже ні одна людина не буває такою цінічною, як собака, і ні одна дитина не буває більш наївною. Ріке трудно дивитися з погляду Бержере. Вона кидається, як уже казано, на чесного столяра тільки через те, що він одягнений в просту блузу й має в руках свій робочий струмент; вона повна всими стародавніми передсудами феодальної епохи. Але її думки—це маленький шедевр собачої невинности та стислої іронії. Ось кілька зразків.

"Люде, звірі та каміння ростуть, наближаючись до мене, і стають надзвичайно великими, коли мені погрожують. А я—ні. Я завше однакова, де б я ні була.

"Особливий собачий запах-пе чудові нахощі.

"Мій хазяїн гріє мене, коли я лежу позад його в кріслі. Це через те, що він—бог. Єсть тепла кам'яна плитка перед каміном, божественна плитка".

"Я говорю, коли хочу. З уст мого хазяїна теж виходять згуки, які мають деякий сенс. Але їхнє значіння не таке вираз-

не, як те, що я висловлюю своїм голосом. В моїх устах усе має сенс. В устах мого хазяїна багато порожнього галасу".

"Всть на вулиці екипажі, що пересуваються кіньми. Вони страшні. Всть, опріче того, ще екипажі, які пересувають сами себе і дуже сопуть. Вони теж повні ворожнечі.

"Люде, що вдягнені в рам'я, варті щоб їх ненавидіти, так саме, як ті, що несуть на голові кошики, або везуть бочки.

"Терпіти не можу також дітей, що з усісї сили бігають та ганяються одно за одним, хапають одно одного, кричать на вулиці, скільки сили. Світ повен ворожих та небезпешних річей.

"Я люблю свого хазяїна, бо він могутний та страшний.

"Вчинок, за який нас б'ють — поганий вчинок. Вчинок за який нас гладять—гарний вчинок.

Молитва. Мій добродію Бержере, бог кісточок, на яких єсть м'ясо, я поклоняюся тобі. Слава тобі, коли ти вселяеш страх. Хвала тобі, коли ти ласкавий! Я лазю коло твоїх ніг, я лижу твої руки. Величний ти і чудовий, коли сидячи за застеленим столом ковтаєш безмірну скількість печені. Величний ти і чудовий, коли маленькою щіточкою викликаєш полум'я і робиш з ночі день! Збережи мене в твоєму домі і не пускай у його кнших собак!"

Ие пародія на людську релігійність, змальована цілком добродушно, але дуже гостро.

Коли ж Бержере звертається до цієї собаки,—він звертається до всієї останньої частини людськости.

"І ти, бідна, маленька чорна істото, така безсила, не вважаючи на твої гострі зуби і глибоку пащу, і ти поклоняєшся позверховній величності та стародавній несправедливості. І ти дуриш себе брехнею. І ти пестиш в собі расову зненависть!

"Знаю, що в тебе есть невиразна добрість, добрість Калібана. Ти побожна, у тебе є своя релігія та мораль. І иншої, кращої, ти не знаєш. Ти бережеш будинок і обороняєш його від тих навіть, хто його оборона та окраса. Ремесник, якого ти хотіла прогнати, має, не вважаючи на те, що він такий простий, варті уваги думки. Ти їх не чула.

"Твої волохаті вуха чують не того, хто говорить найкраще за инших, а того, хто кричить найголосніше з усіх. І страх, прирожденний страх, що був порадником твоїм предкам та моїм, коли вони жили в печерях, страх, що сотворив богів та злочинство, одвертає тебе від нещасливих та віднімає зовсім спочуття".

В формі собачої невинности іронія виграє в стилі. Такого сорту форму Франс надає їй часто. Наприклад, коль в "Д-ві Бержере" він висуває хід думок своїх ворогів на початку і в кінці двох розділів з вигаданої книжки з 1538 року, в якій Франс бездоганно імітує мову, стиль та спосіб думок XVI в.,—твір про трубліонів та національности тієї епохи.

Так само, як у духовному складі Франсовому взагалі є де-що, що нагадує Вольтерів спосіб писання, так за головними його дісвими особами і в самому дусі його романів ховається щось кандидовське. Кандид був також наївний Франс, усе перечитував та перечитував Вольтера і переняв від його дуже багато. Як часто, наприклад, у Франса повторюється історія Хозроєвої вдови з "Задлга!" Така вольтерівська фраза, як ця, наприклад: "Віра в безсмертя дуже росповсюджується в Африці вкупі з бавовняними тканинами",—наче її цілком написав Франс. Правда, у молодшого письменника простодушність більше натуральна, в той час як його літературна вартість, звичайно, далеко менша.

#### V.

Чотирі томи роману Histoire Contemporaine (Сучасна історія), між якими два останні своїми дотепними нападами дуже помогли в Дрейфусовій справі ворогам націоналістів, хоч і не однакові своєю вартістю, але як ціле являються твором високого досвіду та олимпійської переваги. Головна дієва особа, добродушний і мудрий д. Бержере, нещасливий в одружінні, щасливий у справі з розводом, як тип, ні трохи не гірший за тих персонажів, ущих инші великі французькі поети малювали самих себе. Він—достойний брат Мол'єрового Альцеста, Фігаро Бомарше та Бальзакового Меркаде.

Ще кращі з артистичного боку за цю велику повість маленькі сучасні новели, зібрані в збірнику "Crainquebille". Оповідання, заголовком якого названо збірник, написано коротко, просто, гаряче та гостро. На скільки ця історійка жалібна, настільки друге маленьке оповідання Putois дотепне, так саме, як і глибоке.

- Люсьене, ти пам'ятаеш Пютуа?—питае Зоя у свого брата, добродія Бержере.
- Чи я пам'ятаю Пютуа? Але ж ні один з образів мого дитинства не стоїть перед мене таким живим. Голова в його була шпичаста...
  - Лоб низький, —додає m-lle Зоя.
- I от брат та сестра промовляють по черзі, одноманітним голосом і з дивною серйозністю, наче описуючи прикмети:
- Низький лоб. Скляні очі. Боязький погляд. Зморшки на висках і т. и. і т. и.

Далі:

— Худий. Трохи згорблений. З погляду слабий, але в дійсности надзвичайно дужий, міг зігнути між пальцями п'ятифранкову монету. Великий палець мав здоровенний.

Далі йде ще безліч инших полробиць.

Поліна, дочка Бержере, питає:

— Хто ж такий був Пютуа?

Ій відповідають, що це садівничий, син чесних хліборобів, заснував у Сент-Омері школу щеп, але справа йшла недобре і він зробився сільським робітником, який переходив з одного місця на друге. Але в цій професії він не дуже добре поводився. Коли в батька не ставало чогось на столі, він звичайно казав: "Мені здається, що сюди заходив Пютуа".

- І це все?—питає Поліна.
- Ні, моя дівчинко, це не все. В Пютуа було цікаве те, що хоч як ми його добре знаємо, він усе таки...
  - Не істнував, —каже Зоя.
- Що за слово!—скрикує д. Бержере.—Як ти зважуєшся запевняти, що так було справді? Чи ти добре обміркувала, яких саме умов треба для істнування? чи обміркувала ти всякі форми буття?

І д. Бержере поясняє дочці, що Пютуа народився дорослою людиною тоді, коли вони з сестрою були дітьми. Іхні батьки жили в маленькому будинкові в Сент-Омері і впорядкували своє життя на свій смак, коли це їх знайшла стара багата материна баба в перших, що мала недалеко від їх маєток і скористувалася з них,

як з родичів, на те, щоб закликати їх що неділі на обід, запевняючи, що всі порядні люде обідають у неділю вкупі з своїми кревними.

Батькові на цих обідах бувало страшенно нудно, і через те він став вимагати, щоб мати вигадала щось таке, через що можна було б не йти на обід. І мати, така завжди правдива, повинна була одного разу сказати: "В неділю не можна. Я жду садівничого". Таким способом з'явився Пютуа.

У батьків був тільки клаптичок землі і через те баба, дивуючися, спитала: "Невже садівничий буде працювати в цьому садку?" І коли їй сказано: "еге",—вона цілком розумно зауважила, що його можно було б покликати і в буддень. Це примусило відповісти, що Пютуа може ходити на роботу тільки в неділю, бо ввесь тиждень він має иншу працю. Так у Пютуа з'явилася друга характерна риса.

Коли спитано, як його звуть, то його нарешті охрищено. З тії хвилини, як йому дано було ім'я, він почав наче б то істнувати. Як баба спитала далі, де він живе, він по неволі став робітником, що переходить з місця на місце або бурлакою. Таким робом мало того, що він істнував, він іще й жити почав по своєму.

Баба схотіла була покликати його до себе на роботу,—тоді виявилось, що його ніде не можна знайти. Вона почала всіх на світі про його роспитувати,—більшість людий наче б то його бачили, а инші знали його, але не могли сказати доладу, де саме він в сю хвилину, аж поки нарешті збірщик заявив рішуче, що Пютуа колов у його дрова між 19 и 23 листопаду того року, як на небі видко було комету.

Одного чудового дня баба прийшла росказати, що бачила його: чоловік років п'ятидесятьох, худий, сугулий, в брудній блузі, він скидається на бурлаку. Вона голосно покликала його: Пютуа!—і він озирнувся.

З цього часу Пютуа почав усе рости та ставати все більше справжнім. У баби вкрадено три дині; вона підозрювала, що це Пютуа. Та й поліція була тієї думки, що це він винен, і почала його шукати. В місцевій газеті один журналіст надрукував справжній наказ про те, щоб арештовано Пютуа та ще й описав його прикмети, і виходило, що він має обличча запеклого злочинця. Скоро після цього бабу знов обікрадено,

Digitized by Google

цього разу зникли три срібні чайні ложки; вона й тепер рішила, що це зробив не хто инший, як Пютуа. З цього часу його став боятися ввесь город.

Як виявилось, що бабину куховарку хтось спокусив і вона завагітпіла, пані зразу ж сказала, що в цьому винен Пютуа, і ще більше впевнилася, що її думка правдива, коли куховарка заплакала і нічого не відповіла їй на питання. А що дівчина була погана з себе та до того іще бородата, то з цієї історії всі багато сміялися. Пютуа став у народній фантазії якимсь сатиром. Але коли того ж року в такому саме становищу опинилася шинкарева наймичка та одна маленька горбата дівчина, Пютуа в народній уяві став справжнім страхіттям.

Маленьким дітям здавалося, що вони всюди його бачуть; він проходив увечері поуз садок, або вони бачили, як він перелазив через баркан. Часом на ляльках десь бралися плями чорнилом,— звісно, се він зробив. Він вив з собаками, нявчав уночі з кішками, увіходив тихенько в хату, де спали діти і був чимсь таким—от ніби хоха, або домовик, або Оле Люкойе. Батько цікавився вірою в Пютуа, бо вона була типовою для всіх людських вірувань, але що ввесь Сент-Омер був певний у тому, що Пютуа істнує, то він, як добрий громадянин, не хотів руйнуватп цієї віри.

Мати, — вона, правда, трошки докоряла себе за те, що появила на світ Пютуа, але все ж вона зробила ні трохи не гірше за Шекспіра, що сотворив Калібана. Одного разу вона навіть уся зблідла, як увійшла покоївка і сказала, що внизу в кухні стоїть товстий сільський робітник і каже, що йому треба поговорити з панією. "Він сказав, як його звуть?"—А як же! Пютуа.— "Як?"— Пютуа, пані. Він дожидає в кухні.— "Що ж йому треба?"—Він тільки вам хоче сказати, що йому треба.— "Підіть усе таки спитайте в його, яка там справа."

Як покоївка зійшла в кухню, Пютуа там уже не було. Але з цього часу мати сама почала трошечки вірити в те, що він істнує.

Це оповідання має дуже глибокий зміст і дуже тонко написане. В йому говориться про те, що значить буття, яке ми собі уявляємо. Пютуа з'являється на світ через те, що сотворено було міе і впливає з такою силою, як завше впливають міеічні особи.

Ніхто не зможе не згодитися з тим, що місічні істоти панують над людськими почуттями, або з тим, що вони мають активну силу в людських душах. Боги та богині, духи та святі вселяли ентузіязм та страх, мали свої жертовники, веліли робити злочинства, були першою причиною звичаїв та законів. Сатири та сілени тисячі років сповняли людську фантазію, заставляли працювати різці та пензлі. Чорт може нарахувати кілька тисячоліть своєї історії; він бував страшний, дотепний, придуркуватий, жорстокий, виматав людських жертв і йому кланялися не тільки чарівники та відьми,—він мав аж до наших часів своїх власних жерців. Франс думає, одначе, не тільки про чорта, але піднімається вище.

І він не тільки хоче в жартовливому тоні показати, як з'являються міси, але також кинути инший, сильніший світ на людські погляди. Баба починає підозрювати, що пані Бержере хоче монополізувати мандрівного садівничого і не дозволити иншим скористуватися з його роботи,—і автор зауважає, злегка всміхаючися, що багато історичних поглядів, з якими погоджуються всі без винятку, мають такі ж саме підстави, як і цей бабин здогад. Тут, як і в инших своїх книжках, Франс доводить, що віра в справедливий суд будущини—дурниця.

Йому завжди здавалося дивним, що пані Ролан могла апелювати до безстороннього потомства і зовсім не приймала до уваги того, що колилюде, які її скарали на смерть, були не що инше, як злі малпи, то багато шансів малося за те, що й потомки їхні будуть такі самі.

Світова історія—це світовий суд,—сказав Шіллер. Хто в це вірить, той невинна людина. Будущина стільки буває справедливою, скільки їй байдуже до якої справи; мертвих вона може допитувати тільки з великими перешкодами, а сама вона не єсть щось неособисте, безстороннє, але складається з більше абс менше обмежених людей,—цим людям і доводиться судити,—тим то й суд виходить такий, які судді. Історична справедливість—це Пютуа.

Слава — це Пютуа, істота, яку ми тільки уявляємо собі, за якою женеться безліч людей і яка стає для їх нічим як раз у ту мить, як повинна була б стати силою, себто в час їхньої смерти.

Всюди штучне істнування, істнування тільки в уяві, яке подають мов дійсність і вважають за неї.

Нема чого спинятися на релігії, в якій дуже легко довести присутність Пютуа; його довга тінь падає на всю теологію.

Але що до політики, то варто тільки згадати таку річ, як роковини основного закону. Що-року в Данії святкується 5-е червня в честь основного закону, замість якого вже сорок років як видано инший, цілком неможливий, що й досі має силу; і цей день святковано навіть тоді, коли сам цей основний закон було зламано і коли в Данії взагалі не було основного закону. І те саме місце, яке в політиці мають іллюзії, в громадянстві віддано титулам.

Або подумайте про те, яку роль грають ці істнування в уяві в нашому інтімному житті. Уявіть собі, що можно було б змалювати портрет коханої жінки, яку сотворює коханкова фантазія в ту мить, як він бачить усі ті її гарні прикмети, які він собі уявляє, а поруч поставити картину, яка зостається від неї тоді, коли кохання вже зникло і коли він одбірає в неї одну за одною всі ті властивости, які його зачарували. Тоді прикмети першого портрету (ясне чоло, променисті очі, ніжний мелодійний голос, глибока щирість, надзвичайний розум, непоборні чари) здалися б такими саме вигаданими, як і прикмети Пютуа.

Хто, прочитавши цю маленьку повість, подумає над нею, той побачить, скільки вона викликає думок, і почне всюди, так як мешканці Сент-Омеру, знаходити слід Пютуа.

Перекл. Н. Г.

Кінець буде.

### ІВАНОВІ ФРАНКОВІ.

Сього року Іванові Франкові сповняється п'ятдесят літ.

З них—більш як тридцять літ талановитої, розумної, надзвичайно багатої й енергичної праці за для рідного письменства, за для науки, за для просвіти й добра великих народніх мас.

Надхненні поклики могучого каменяра і плачі наболілої душі, поезія зів'ялого листу; реальні малюнки народнього життя, народнього горя й мук, малюнки, змальовані рукою першорядного повістяра, і точні наукові досліди, що пробивали нові стежки вкраїнській науці; публіцистичні статії на пекучі теми дня, в оборону прав рідного зневоленого народу, і з науковим педантизмом оброблені видання апокрифів або фольклорних матеріялів—вірші й проза, пісня й повість, наука й політика—томи, багато томів, що лягають міцною підвалиної будущої великої будівлі—будівлі дужого українського письменства, будівлі української культури...

Ввесь час на роботі, на тяжкій невсипущій праці—серед лиха й щоденної боротьби, серед ворожих ударів і зрадецьких підступів, серед нападів од чужих і нерозуміння від своїх.

І ввесь час у першій лаві великого бою за право на життя рідного народу, ввесь час непохитним борцем за найкращі ідеали людськости, одним з тих лицарів духа, що сяєвом свого розуму й таланту ведуть народи наперел, до визволу від усякої неволі духовної й матеріяльної, до того сподіваного й радісного життя могучих вільних людей на вільній щасливій землі.

Таким був, таким есть Іван Франко.

У трьох напрямках найголовніше визначилася його діяльність: як поета-автора ліричних і епичних віршів, як беллетриста і як ученого фольклориста й історика літератури. І в кожному з ціх трьох одділів уже він зазначив свою власну лінію—глибоку й орігінальну.

Один критик назвав його співцем боротьби й контрастів. Се правда, сі дві риси є, і дуже виразні, у Франковій діяльності. Та сими двома рисами не може бути зхарактеризована така широка й багата духовними інтересами діяльність, як Франкова. Він співець боротьби, але в ще більшій мірі співець праці, тієї добро-

дійної святої праці, що з бур'януватих пустарів робить поля, укриті хвилями золотого колосу, що на руїнах розваляних фортець зневолення й темряви будує ясні будівлі світу й народньої волі.

Тяжкі і характерні умови життя вкраїнського народу зробили те, що Франко мусив бути за одним заходом і воїном, і робітником. Як ті старі наші степові колонізатори-хлібороби, він орав дике поле, встромивши міч у борозну. Та й не тільки се. Він сам мусив виковувати собі і той міч, і той плуг, сам мусив і руйнувати мури ворожих замків, і зводити нові мури... Се робило його життя, його завдання тяжчим, але за те й заслугу його робить більшою.

Яка велика ци заслуга вже тепер—те зможуть оцінити люде тільки пізніше. Що ця заслуга ще збільшиться роками дальшої діяльности Франкової про те нема що й говорити.

Та вже й тепер можна сказати, що Іван Франко—один з найвидатніших діячів усього вкраїнського народу, один з найкращих його проводирів, що він одна з найвидатніших і найорігінальніших постатей українського письменства. З-окрема що до Галичини можна з певністю сказати, що без Івана Франка Галичина не була б тим, чим вона тепер є з погляду просвітно-культурного, що вся та літературна й наукова робота, яка тепер там робиться, була б просто неможливою, коли б Франко не попрацював попереду, не працював тепер. А яка велика шкода була б од цього для всієї України—се зрозуміло кожному, хто знає історію нашого руху в ХІХ-му віці.

В одній критичній розвідці названо Франка декадентом. На се чудернацьке обвиновачення поет одповів віршом, де, між иншим, казав:

Який я декадент? Я—син народа, Що вгору йде, хоч був запертий в льох. Мій поклик: праця, щастє і свобода, Я є мужик, пролог, не епілог.

Так, він, укупі з небагатьма иншими, є пролог—пролог до величної, пишної поеми нового життя вкраїнського народу. Воно ще не прийшло, це життя, але воно прийде, неминуче прийде. І тільки тоді ми як треба оцінимо скільки зробили такі люде, як Франко, зрозуміємо, як ми повинні їх шанувати.

А поки прийде той час, нехай сі наші слова будуть щирим привітанням невсипущому й надхненному борцеві - робітникові, гордости рідного краю Іванові Франкові.

Б. Грінченко.

### За кордоном.

Закордонна політика Германії. Вільгельм II і россійські справи. Німецький імператор і англійський король. Шахрайства в німецькому колоніяльному уряді. Трансваальська конституція. Останні рахунки бурської війни. Англійське та французьке громадянство і россійські події. Конституційний рух на сході.

По всіх конституційних державах, де міністерські кабінети більше або менше залежать од народньої ради, закордонну політику, як відомо, найдалі одсунуто від упливу народнього заступництва. Потреба таємної діяльности в закордонних справах, потреба усяких дипломатичних крутійств впливає на таке становище міністерства закордонних справ навіть у країнах з демократичним, як що рівняти, ладом державним. Я вжив слова "потреба" і мушу його пояснити. Звісно, з погляду народніх інтересів такої потреби нема; але сьогочасній уряд не може инакше дивитись на чужоземну країну, як на свого конкурента, хиба що сам її експлуатує. А од конкурента, звичайно, зо всіми думками й замірами треба ховатись і, яко мога, конкурентові шкодити.

На суходолі Європи цей напрямок буржуазно-капиталістичної політики найбільше виразно виявляється у Німещині, класичній країні капиталістичного хазяйства зо всіма його наслідками. Там політичні умови життя так склалися, що становище не тільки міністерства закордонних справ, але й усього взагалі міністерського кабінету мало залежне від народньої ради. Що до закордонної політики, то вона тепер у Германії тим більш незалежна од впливу народніх заступників, що нею порядкує сам Вільгельм ІІ, ученик, хоч і не дуже дотепний, Бісмарка. Він силкується виконати його план, досягши гегемонії на суходолі Європи та конкуренцією з Англією на всесвітньому ринкові. Россійські "всесвітні" заміри довели, як ми бачили, до катастрофи на Далекому Сході.

Німпі до здійснення свого заміру беруться краще. Іх політика, себто політика пануючих класів, є наслідком внутрішніх умов життя країни і має на меті поперед усього торгово-промислові і колоніяльні здобутки.

Сусідня россійська Польща заповнена німецькими промисловцями, крамарями й колоністами. Це мирний авангард німецької здобувчої політики на сході. Широко розлився німецький вплив також на Балканському півострові і в турецьких мало-азіятських володіннях. Тут німецькі економічні завоювання швидко посуваються. В країнах нового світу, а надто в Південній Америці німці добре конкурують зо всіма торговими державами, а поперед усього всюди витискають англійців. Усього цього німецька буржуазія досягла своєю завзятістю, дуже гарною організацією промислово-торгового діла, на цілком нових основах, пристосованих до сучасних вимог і обставин.

Навпаки, всі урядові підприємства, всі офіціяльні заходи доводили Німещину тільки до втрат та клопоту, часом мало не до небезпечної війни. Недотепна організація африканських колоній викликала війну з тубільцями, що не спинилася й досі; китайські здобутки виявились дуже небезпечними, а ще більш небезпечною-загальна міждержавна політика Вільгельма II. імператор намагається, очевидячки, іти слідком за думками свого вчителя, та не має вдачі покійного залізного канплера. Тим часом зріст державної могутности й торгові успіхи Германії наробили їй багато ворогів і поставили на особливому, досить не певному становищі. Це становище вимагає вельми зручної закордонної політики. Такою эручністю власне не може похвалитись імператор Вільгельм, усі заходи якого від початку панування не придбали державі ні слави, ні користи. Від часу визвольного руху в Россії його політика, між иншим, виявила всі прикмети сімпатії до россійських реакціонерів. Недавно виявилось навіть, наче б то істнує якась умова між россійським і німецьким та австрійським урядами. Появилась одповідна статя у офіціяльній "Россії", досить непевна, але не без деякої ваги. Пригадаймо, що у червні відбулась подорож імператора Вільгельма II до Відня, і газети в один голос писали, що на цьому з'їзді говорилось про россійські справи і про змогу оккупації надкордонних россійських земель, коли б трапилось уселюдие узброене повстания в Россії. Виходить, як що вірити газетним звісткам, що середньо-європейські державці збіраються повторити історію: дати поміч реакції у Россії, так саме, як колись їх предки виступили в обороні старого ладу у Франції. Чи справді історія має повторитись і чи повториться з повною докладністю?...

Можна гадати, одначе, що імператорам важко було б здійснити оквупаційні плани. Окрім можливого протесту з боку инших держав, німецькому й австрійському урядам довелось би рахуватися з ворожим, до таких виступів, настроєм власних народніх мас. Особливо у Германії veto соціял-демократії може загальмувати всі войовничі заміри. Загальний страйк у промисловій Німещині, це така грізна річ і така сильна зброя в руках пролетаріяту, перед якою уряд запевне буде примушений поступитись.

Далеко важнішу практичну вагу мав, здається, для буржуазної Німещини липневий з'їзд Вільгельма II з англійським королем Едуардом. Інтереси англійського й німецького капіталу дуже суперечні. Взасиний ворожий настрій буржуазного англійського й німецького громадянства виразно виявився ще під час бурської війни і виявляється й досі при всякій одповідній нагоді. Ця ворожнеча все збільшується та збільшується під впливом кожного заборчого заходу тієї чи сієї держави на всесвітньому ринкові й може довести до збройної суперечки. Тим часом війна для обох держав річ дуже не певна і, що до наслідків, грізна. Невідомо, чия була б побіда, а знов з певністю можна сподіватись, що найбільше скористувались би нейтральні торгово-промислові країнипоперед усього Сполучені Держави Півн. Америки, що зійшли на колишній шлях англійської політики: самому, о скільки мога, війну обминати, а з незгоди инших користуватися. Це подають до уваги обережніші англійські й німецькі гурти, про це пишуть щиро-ліберальні англійські й деякі німецькі газети. Тим, зараз після побіди лібералів у Англії, почалися змагання, щоб хоч трохи полагодити відносини між двома державами. В Лондоні відбулось скілька мирних демонстрацій: вітали німецьких журналістів, інженерів, городських голів, а в липні на міжпарламентській конференції міністр-презідент Бальфур підкреслив у своїй промові мирні заміри Англії. Цей "мирний" настрій пануючих гуртів в обох країнах закінчився, поки що, власне фрідріхсгофським з'їздом англійського короля з германським імператором. Як можна було гадати одначе з закордонних звісток, з'їзд цей не обмежився тільки тим, щоб полагодити англійськонімецькі відносини. Монархи двох великих держав дбали наче б то також і про міжнародні справи. Вісти, що у Фрідріхсгофі сталася якась умова на випадок узброеного повстання в Россії, можна гадати, неправдиві-цьому суперечить дуже обережна відносно россійських подій політика англійського уряду. Але мабуть говорено про балканські справи та про Персію, де вплив Германії в останніх часах теж дуже побільшився і де німці добре конкурують не тільки з Россією, але й з Англією, не прямуючи до земельних здобутків, а обмежуючись самими культурними та торговими. Що до крізісу на Балкані, то останні колотнечі, які погрожують вибухом, цілком не вигодні германським торгово-промисловим і фінансовим сферам, які без війни день за днем захоплюють, як ми вже казали, все нові та нові займища. Тим часом війна може привести до поражки і поділу володінь Турції, а її землі можуть дістатися в руки державам, з якими не так лехко справлятиметься офіціяльна Германія, як зо своїм "приятелем" Абадул-Гамідом і його у край здеморалізованим урядом.

Отже ж нічого не було б дивного, коли б німецький уряд намагався придбати прихильність англійського міністерства закордонних справ, в особі короля Едуарда, і за його поміччю одсунути рішення "східнього питання". Чи пощастило тут німецькому урядові,—зараз невідомо.

Успіх закордоннях діл, які роспочинає й якими порядкує само німецьке буржуване громадянство, значно відрізняється, як згадано вище, від одповідних заходів німецького уряду. Так, наприклад, урядове хазяйнування у колоніях уже не раз гостро критиковано в парламенті, а головно від соціял-демократичної його частини. Недавно виявились такі ганебні шахрайства в колоніяльному уряді, про які давно не чуто в Німещині. Сього разу соціял-демократам, за поміччю преси й парламенту, пощастило примуснти уряд зробити слідство. В минулому місяці вияснилось, що до цього діла причетний між иншими пруський міністр хліборобства Подбельський... Усі приставки для колоніяльного війська постійно доручалися фірмі Тіппельскірх за надзвичайно великі ціни. Тіппельскірх просто грабував державний скарб. Отже ж внявилось, пло пя фірма підкупила колоніяльного урядовця

майора Фішера, і що за плечима Тіппельскірха стоїть міністр Подбельський, жінка якого має в своїх руках більшість акцій цеї фірми. Пруська обмежена конституція й недостача одвічальности загально-німецьких міністрів дають себе знати. Державний лад і в Німещині вимагає ґрунтовних перемін.

Власне про де-які переміни в державно-громадському ладу вже подбало в Англії ліберальне міністерство. Однією з важніших справ, що вже розглядала народня рада е-конституція для колишньої Трансваальської республіки. Проект цеї конституції зложено ще за часів консервативного міністерства. Консерватори намагались не тільки зараз забезпечити англійцям більшість в майбутній трансваальській народній раді, але й запобігти, щоб ця перевага на яко мога довший час залишилася. Ліберальна редакція конституції значно поменшила шанси англійських гірних підприємпів, бюрократів і всіх взагалі чужоземних, вельми непевних, пройдисвітів, що до колишньої бурської країни напхалися. Одначе й ліберали "своїх" не забули... Трансваальські виборчі округи Ранд і Преторія, де більшість людности англійці, матимуть 40 послів, хоч усієї людности в них 120 тисяч, тоді як бурський округ, де 200 тисяч чоловіка, вибіратиме всього 29 послів. Окрім народньої ради, ліберальний проект установляє також другу, вищу раду, яка "поки що" складатиметься з 15 англійських урядовців, згуртованих біля губернатора. Неграм не дано зовсім виборчих прав, хоч до війни з бурами англійська пресса не раз ганьбила бурів, що вони тиснуть негрів. Колишня Оранська республіка конституції також "поки що" не матиме і власне тому, що в ній дуже мало англійців. Треба все ж таки признати, що ліберали зробили великий ступінь наперед, що до бурів, бо політика консерваторів мала виразно на меті придушити бурів і позбавити їх змоги боротись з урядовими заходами з надією на усціх хоч би в далекій будучині. Ліберальний уряд не цішов цим шляхом і, хоч постарався забезпечити англійців, але й бурам дав эмогу вільно організуватися і за свої права боротися.

Лібералам довелось також кінчати рахунки бурської війни і виявити всі крадіжки та шахрайства, які счинились під час цеї війни і до яких були причетні й деякі нижчі й вищі офіцери та урядовці. Справу цю розглядала спеціяльна коміссія, яка в половині місяця серпня оповістила своє справоздання. Досліди комі-

сії виявили, що вкрадено од  $7^{1}/2$  до  $12^{1}|_{2}$  милліонів карбованців. Комісія гостро ганьбить діяльність військового уряду й оповіщає прізвища тих офіцерів і урядовців, що заплямили себе нечесними вчинками.

Англійські газети хоч і дуже захоплені цею справою, але, як завсігди, присвячують також багато місця россійським подіям. З огляду на напрямок англійської закордонної політики, всі англійські гурти в один голос висловлюють бажання, щоб у Россії, яко мога швидче, запанував дійсно конституційний лад, бо тільки в такому разі, як висловлюється вся англійська пресса, може стати спокій у Россійській державі. На цій думці зійшлися і англійський пролетаріят, і англійська буржувзія.

Зо страхом дивляться на все, що діється тепер у Россіїфранцузи. У літні місяці, час спочинку народньої ради, головною темою газетних статій є Россія, Россія й Россія. Занадто вже французька буржуазія встряла грішми у россійські діла, щоб могла не захоплюватись їми. Банкротство Россії потягло б за собою страшенний "крах" у Франції; отже ж не диво, що французькі "rentiers" тремтять, як висловлюються газети, читаючи звістки з Россії. Цей настрій французького буржуазного громадянства досить добре эхарактеризувала газета "Matin" в одному з липневих номерів. Наців шутками, наців поважно французька газета пише: "Ми, французи, оцінюючи россійські події, стоїмо в особливому становищі. Наше становище є становищем позичальника, що бачить, як його довжник б'еться зо своею сем'єю, нищить усе в себе, винидає меблі через вікно й підпалює свою хату. Позичальник неспокійно питаеться, що буде з його позикою. Цей бідолаха, кинувши оком на газоти, зустрічається там з найстрашнішими віщуваннями. Віщують бунт армії, вселюдний страйв, вріваву різанину, а до того справді приходять звістки про вбивства, розбишацтва, пожежі по містах і селах і т. и. Це дуже цікаве, особливо коли масш свої гроші у цій країні! Найбільше одначе обурює позичальника той факт, що ці самі газети цікавлються виключно першорядними пинепорушними правами націй, будучністю людськости й иншими подібними справами, цілком йому байдужими. Бо в дійсності одно тільки його цікавить у россійській колотнечі: позичальник бажає довідатись, чи й далі буде одержувати плату за свої нупони. Усе инче для його річ другорядна. Хай йому лихо! Адже ж він позичив цим людям, що тепер б'ються там на Півночі, тринадцять милліардів франків. Це ж не дурниця". Так, у політичному фельетоні, з'ясовує "Матіп" настрій французької буржувзії. І коли ми переглянемо всі більш поширені французькі газети, то зустрінемось з цею самою думкою: "Через хибну політику россійського уряду, хто його зна, що буде з нашими грішми". І у Франції, так саме, як в Англії, немає людей, які б не згоджувалися, що тільки справжня конституція і грунтовні економичні реформи можуть заспокоїти Россію.

Поки безталанні народи Россії ніяк не можуть діждатись дійсної волі, хоч їм увесь світ цього бажає, конституційний лад береться заводити Персія, а китайський уряд визначив уже термін, коли буде дано конституцію; в Афганістані емір починає якісь реформи, навіть з Турції доходили звістки, що там починають згадувати конституцію, яку султан дав тридцять літ тому: чи не час би її у життя ввести. Зо всіх цих країн найближче до дійсних реформ стоїть, здається, Персія. Революційні колотнечі тягнуться в Персії від січня с. р. Вже не раз од початку колотнеч шах перський обіцяв поробити ґрунтовні реформи. У кінці липня видано маніфест про скликання заступників од вищих класів перського громадянства. Одначе цей маніфест, що обминув народні верстви, не заспокоїв, очевидячки, персів, бо останні звістки з Персії сповіщають про великі розрухи в цій країні.

Богдан Ярошевський.

# Бібліографія.

Богдан Лепкий.—З глубин душі. Buбір поезий, ст. 192. Львів, 1905 р. Ціна  $2 \kappa$ . 40 с.—Богдан Лепкий.—По дорозі житя. Buбір оповідань, ст. 168. Львів, 1905 р. Ціна  $2 \kappa$ .

Богдан Лепкий має сам себе за поета-реалиста:

"Я пишу те, що чую, бачу, Що в серце, або в мозок впало" (ст. 17),—

каже він у збірнику своїх поезій "З глубин душі". Ми не маємо жадної рації перечити йому в сьому та одбірати у його право на таку назву. Навіть навпаки,—з найбільшою охотою готові під-креслювати се його право. Одно тільки мусимо завважити, що очі

у д. Лепкого далеко не орлині, тому то він і не зазирає глибоко в життя, а також і вуха його не мають сили вловити багато гострих життєвих дісонансів, а серце пережити, відчути їх. Правда, сам д. Лепкий думає видимо инакше і виявляє претензії на ролю всенароднього трібуна.

"О пісне моя! Що найкрасшого в В душі—мисли народу мойого В твоіх звуках, як в арфі безсмертній жив Воскресення чекаючи свого" (ст. 12),—

досить гордовито висловлюється наш поет. Та пам'ятаючи, що автор звичайно буває разом з тим і найбільш непевним критиком своїх творів, ми поклали собі перше, ніж ствердити згадану думку нашого поета, самим на підставі фактичного матеріялу, який маємо, упевнитися в ній. І не даремно. З перших же сторінов з глубин душі" коле очі навіть і не дуже уважному читачеві, що д. Лепкий, вважаючи свої поезії за вислов "мислей" народа, гірко помиляється; кожному одразу видко стає, що роль загально-народнього трібуна йому зовсім не до речі. Одначе ми не можемо визнати його поезій за вислов одніх тільки його індівідуальних "мислей". На нашу думку, за д. Б. Лепким безперечно стоїть певний громадсько-псіхологичний коллектів, витвір умов громадянського життя наших часів.

В оповіданні "Починок", що надруковане в збірці "По дорозі житя", д. Лепкий росказує про звичайного сірого мужика, але разом з тим "героя страшної драми, що почалася в першім акті посеред лісів-закутин" (134). Жив собі Починок (так зветься герой оповідання) добренько. В його була "хата, господарська хата. —В ній жінка пильна, роботяща і двоє дітий. —Донька тиха, спокійна, як лісова квітка, син жвавий як сернюк. В стайні худібка, в поли збіже золотом переливається до сонця". І головна річ, що "то його хата, худібка, збіже, родина, його житв" (ст. 165). Перед нами, як бачите, хазяїн, хоч і не великих, правда, достатків, але з яскраво підкресленою суто-хазяйською псіхологією власника добра. Спокійно в достатку господарював собі Починок в свому "лісі-Закутині", всю душу вкладаючи в свое хазяйство, другого життя не знаючи й не марючи про його. Але з'являеться "ту велика, яструбина рука, блискуча від золота і дорогих камінів, всувається у його хату" (ст. 165) і "загортає у свої шпони його добро, його жите"... (ст. 166). З сього менту Починкові мусило б упасти в голову, на якому хисткому грунті збудував він щастя своє і яка непереможна для його самого сила зняла руку на його щастя; він мусив зараз би таки побачити, що у "яструбиної руки" до жартів серце не лежить, сентиментальности вона не любить, вимоги свої ставить твердо і од їх не відступається сплоха... Вона одно знас: "забирайся з власної хати, кидай рідне поле та іди, куди хочеш!" (ст. 116). Але мовчки оступитися від свого добра Починок не міг. Він спробував боротися, але—така сила річей!—швидко мусив лишити усе, що найдорожчого було у його житті, і "забратися".

Отака то тяжка, жорстока драма відгралася "посеред лісів-

закутин"!

Починок загинув, і на руїнах його життя, його добробуту запанувала "яструбина рука, блискуча від золота і дорогих камінів",—рука великого інтернаціонального капиталу. Се ж в наші часи "звичайна історія", що нікого вже не здивує. Та як же дивиться на се наш автор?

Д. Богдан Лепкий, на нашу думку, буде типовим заступником середньої буржувзії і в своїх посзіях досить виразно виявляє
настрій сеї верстви нашого громадянства з її антипатією до всяких гострих виступив, до всякої бойовничої акції. Зверніть увагу
хоча б на вірш, який починається словами: "Гей керманичу!"
(ст. 27). Тут автор оповідає про сумну долю мужика Гриня, про
те, що "Песій жид его опутав, обдурив як ту дитину", так що
врешті "на гиляці сам себе житя він збавив" (ст. 28). Або
прочитайте: "Гать пустили!" Тут тема та ж таки сама, але сей
вірш більш продуманий і краще обробляний, ніж попередній. Поет
росказує, як "стало в наших горах сумно і не легко ту о хліб"
(ст. 30). І сталося се з того саме часу, як "хитрий жид, гієна
гір", "вгледів тоті ялиці", що росли-буяли

"Там, де воля і свобода, Де неділена земля Не споганена природа, Не накинені права, 1 купив їх під топір".

З того часу

"Застогнали сині бори, Залунали топірці, Пишні діти Чорногори Повалились, як мерці" (ст. 29).

З того часу "гуцулові руки мліють" біля стерна на "дарабі", і пливе він Черемошем, гинучи десь "під скелею" на те тільки, щоб "гієна гір" загрібав у свою кишеню грошву. Авторові, як бачите, пощастило натрапити на одну з самих болючих ран нашого життя, і ся тема напевне б запалила серце заступника трудящого народу могутним полум'ям гніву і викликала б у його гарячий та гострий протест,—у автора ж "З глубин душі" ми бачимо тільки якусь мляву, пасивну скаргу та й більш нічого. Д. Лепкий не має сили кликати до боротьби та протесту, він тільки й може побажати своїм героям, немилим дітям долі, щоб приснився їм:

"День погідний, сонця повний, Власна хата, рідне поле, Праця щира, бо на волі, Світ широкий, правдомовний, Безоблудний..." (ст. 106).

Але бажаючи зараз так небагато, наш добрий, м'ягкосердий поет всетаки вірить, що "Зі сна проснуться люди" і підуть

3 душних темниць на ясну путь І у дорогу заберуть Не зброю остру, не машини, А серце чисте, як в дитини, Іюбови повне" (ст. 136)

і тоді тільки нарешті "первородний, правий син природи" (ст. 137), побачить на власні очі те, за чим сумує, за чим тужить наш поет, побачить цілковиту іділію, що так скидається на райські малюнки ортодоксів усяких релігій. "Тоді,— запевняє д. Лепкий,—

На людські ниви золоті, І на сади рясні, веселі І на їх *сумирні* оселі-Зійде небесний херувим З завітом вічного добра"... (ст. 137).

От як колись буде, а поки що—дай вам боже, люде добрі, сон короший! Ся пропозиція тактики незлостивости та смирення, що не так то далеко втікла від материної "науки" в Руданського:

Ти склони себе, як билиночку, Простели себе, як рядниночку,

сей рожевий утопизм дуже характерні.

"Яструбина рука" утворила таке життя, над котрим "як мева, жаль літає і біла туга" (49) та "стежками попід гаєм бездомний сум блукає" (72). "Туги—великі, білі крила" (88), "похоронні нути" (89), "зловіщі гимни" (95), "слези жгучі" (98), "сірий смуток з худими руками" (125), а також і "симий (?) смуток" (130), —все це говорить нашому авторові: "не надійся нічого! (89). І от поетові, в незлім, тихім серці якого звило собі тепленьке гніздечко бажання цілковитої іділії, нічого не зостається, як залишити се сумне царство людського життя й шукати собі кращого, більш відповідного до своїх уподобань місця. І він знайшов його:

"Покину я доли
Та піду у гори,
Де з вітрами на взаводи
Літають соколи,
Де біди не слідно,
Де людий не видно,
Щоб тільки заховатись
Перед людським горем". (ст 34).

Правда, і тут не все так, як хотілося б нашому мягкосердому авторові, і тут нема тої цілковитої іділії, якої так прагне його серце, тому то і простір поля, і краса гір, і таємниче життя зеленого бору,—все се розбуркує у нашого поета елегичний настрій, нахил до якого він приніс з собою. Але все-таки тут, далеко від людського ока, далеко від долин, де

"Сумовитими двома рядами, За ровами, помежи плотами Мерзнуть хлопські хати на морозі"... (ст. 125),

наш автор почуває себе далеко краще. "В глухій закутині гірській" можна спокійненько назирати собі, як поміж високими скелями

"...місяць йде хильцем Купатися в холодній фали, Як по воді він тче мережку, І як крізь фалю темно-сину Сріблисто-шклисту стежить стежку Від хмар, крізь воздух у долину". (ст. 24).

"На лоні природи" можна жити, можна відпочити... Зараз видко, що д. Лепкий не помилився і натрапив на своє місце. Тут, у малюнках природи і виявив він свій безперечний талант, свою здібність відчувати красу та кохатися в ній...

В справі техніки вірша нашому поетові можна було б наговорити чимало приврих річей; з сього боку від його поезій зостається бажати багато, бо вони не задовольняють часом, на нашу думку, й самих найелементарніших вимог, наприклад, що до рифми (на ст. 25 він рифмує: душа—звізда). Мусимо зазначити також, що у автора зустрічається багато чужих слів та дивних наголосів (воздух, лодка, судьба), а також є нахил до філологичних авантюр (веремя, огень). Все се не недогляд. Ні, тут свідома, тенденційна недбайливість.

"Мені байдужні всі правила, Всі штучні строфи, ритми, рими, Всі поетичні мотовила, Покриті пасмами скрутними" (46).

Навпростець повідомляє читача д. Лепкий. Побажаємо ж йому як найшвидче збутися сього дешевенького софізму, що служить далеко не на користь його літерацькій славі.

Про оповідання, з яких складається збірка "По дорозі житя" не скажемо нічого нового: вони перейняті цілком тим самим настроєм і відбивають на собі ту саму псіхольогію. Згадаємо тут уже відоме читачеві оповідання: "Починок". Се оповідання, невважаючи на свій мелодраматизм та в де-яких місцях анекдотичність, безперечно, на нашу думку, найкраще і своїм змістом найцікавіше. Невеличкий гарний нарис: "Дідусь" дає нам малюнок досить типового старого селянина, що страшне питання, яке ста-

вить перед кожним чоловіком смерть, роз'язав так ідеально, як тілько се, на думку пр. Мечнікова, можливо буде колись для чоловіка за запомогою науки. Гарні також нариси: "Пачкар" та "Небіщик". "Образ" одно з найбільших і разом з тим найслабіних оповідань у збірнику.

Ми не виявляємо, —що читач вже й сам, певно, помітив, — жадної прихильности до того настрою, яким перейняті твори д. Лепкого, а також не поділяємо його погляду в справі техніки літературних творів, але одначе цілком щиро визнаємо, що, як правдивий вислов реального життєвого настрою, його вірші та оповідання, мають вагу. З сього погляду збірки: "З глубин душі" та "По дорозі житя" безперечно література, а автор їх має цілковите право на назву справжнього літературного діяча в нашому письменстві.

П. €.

Розвідни Михайла Драгоманова про українську народню словесність і письменство. Зладив М. Павлик. Том III. (Збірник фільольогічної секції Наукового Товариства імени Шевченка. Т. VII). У Львові, 1906. Накладом Наук. Товариства імени Шевченка.  $VI+362\ cm.\ 8^{\circ}$ . Ц. 4 корони.

Ми тільки що починаємо збірати ту багату наукову і публіцистичну спадщину, яку нам покинув Михайло Драгоманов. Недавно вийшла в Парижі двохтомова збірка його політичних статій, писаних московською мовою (не повна, одначе); на жаль, вона й досі зостається річчу недосяжною россійському читачеві. Про видання вкраїнської його публіцистики щось і досі не чуть. А тим часом нам треба мати всі писання Драгоманова, сістематично й повно зібрані,—тільки тоді ми як треба зважимо яку велику силу мали ми в його особі, а громадянство наше матиме нарешті змогу вчитися від такого доброго вчителя, яким є Драгоманов.

"Наукове Товариство ім. Шевченка перше поклопоталося про сістематичне видання праць Драгоманова хоч в одному відділі—фольклору й письменства. Можна за це тільки дякувати йому й д. М. Павликові, що щиро попрацював коло редактування й перекладу тих трьох томів, які вже маємо.

Перші два томи вийшли ще р.р. 1899 та 1900. Вони містили в собі праці Драгоманова, писані московською мовою і друковані в Россії в "В'єстник'в Европы", "Кіевской Старин'в" та инших виданнях. Д. Павлик, як і треба було для вкраїнського видання, подав їх перекладом на вкраїнську мову.

Новий том—більший за кожен з попередніх. Він містить у собі 23 розвідки, з яких шість автор сам написав по вкраїнсь-

кому, а 17 д. Павлик переклав з мов англійської, італійської, французької, болгарської та московської. Опріче того, на при кінці книги, є ще важні додатки до попередніх томів.

Деякі з надрукованих у цьому томі розвідок, тільки зреферовують чужі праці, подаючи про їх відомости читачам тих виданнів, до яких писав Драгоманов, або росказують їм про діяльність россійських наукових інституцій в паростях етнографії й фольклору. Такі статії: "Новий погляд на великоруський богатирський епос Влад. Стасова", "Нові видання Росийського Географічного Товариства" (про "Труди" Чубинського), «До рецензії "Трудів" П. Чубинського й "Исторіи въ жизнеописаніяхъ" Костомарова», "Київський відділ Росийського Географічного Товариства й останній кобзар України", "Етнографічні студиї в Київі", "Археольогічний з'їзд у Київі", "Археольогічний конгрес у Київі в серпні 1874 р.", "Студиї народньої словесности в Великій і Малій Руси", "Народні оповіданя в Росії", огляд "Живой Старины" і кільки дрібніших заміток. Усі ці речі, мало чим можуть бути цікаві тепер українському фольклористові, бо писані вони переважно для європейської публики, яка дуже мало знала про вкраїнський та московський фольклор, і якій Драгоманов росказував про загально відомі серед українських учених факти. Але статії ті все ж треба було помістити в сій збірці, бо вони дають матеріял не тільки до історії роботи самого Драгоманова, але й до історії того, як Європа знайомилася з нашою народньою творчістю і з працями наших учених. Тим то можна тільки дякувати д-ві Павликові, що він визбірав усе те з багатьох спеціяльних видавництв кількох європейських літератур.

Розвідка "Науковий метод в етнографії" є критика на книжку О. Стодольського (=О. Кониського) "Етнографія Славянщины". Книжка ся була написана «з ціллю настрахати Галичан картиною того народу, котрий певний гурт у Галичині видає за "один народ" з Русинами» (118). Вона інтересна для характеристики того (на щастя-минулого вже) хворобливого напрямку в українському громадянстві, який помітно було серед його на при кінці восьмидесятих та з початку дев'яностих років минулого віку і якого головним заступником можна вважати О. Кониського. Люде цього напрямку силкувались збуджувати й розвивати національне вкраїнське почування тим, що гудили москалів, а хвалили свій народ, силкуючися доводити се ніби то науковими доводами. Драгоманов виразно в своїй рецензії показує грубу тенденційність і неуцтво автора книжки. З приводу його наївної апріорної аргументації до тезісу, що москалі й українці не один народ, Драгоманов, між иншим, каже: "Національні відрубности треба показувати фактичним аналізом, -як і права на культурну відрубність фактичним розвоем національности, а не апріорними

деклямаціями" (119). В ціх словах міститься поперед усього правдива характеристика самого Драгоманова, як українського наукового й громадського діяча, а потім вельми цінна порада, якої треба, дуже треба послухатися вкраїнському громадянству...

"Політико-соціяльні думки в нових піснях українського народу"—розвідка українською мовою, написана за для "Славянскаго альманаха", що друкувався р. 1880-го у Відні. Альманах цей не дійшов до публіки, і розвідка Драгоманова зосталася їй невідома. Але автор переробив її і згодом (р. 1881-го) видав окремою книгою під заголовком: "Нові українські пісні про громадські справи" (Женева). Було б ліпше, коли б ся перша редакція роботи Драгоманова друкована була поруч з останньою,—тоді легше можна було б зробити порівняння. До цієї статії доведеться нам ще вернутися, як у дальших томах з'явиться передрук згаданої книжки Драгоманова.

Спеціяльно українському фольклорові присвячена статійка: "Із історії вірші на Україні. Критичний вривок". Автор виясняє в їй потребу за для істориків українського письменства, вкупі з дослідами про старі драматичні твори та переробки західних апологів і новел, взятися також до досліду українських вірш і сам розглядає одну таку великодну віршу. Після того, як надрукована була вперше ця статія (у "Ватрі" 1887), опубліковано чимало текстів тих вірш у "Житті і слові" (самого Драгоманова), в "Кіевской Старинъ", "Записках Наукового Товариства ім. Шевченка", в "Историко-литературныхъ матеріалахъ и изслъдованіяхъ" проф. Перетца та ин.; але дослідів, на жаль, було дуже мало, та й ті здебільшого тільки зачіпали вірші по дорозі, йдучи ло иншої мети.

На широкому полі світового фольклору стоїть Драгоманов у важних розвідках: "Побожні легенди болгар", "Славянські оповідання про пожертвуваня власної дитини", "Славянські оповіданя про народини Константина Великого", "Славянські варіянти одної евангельської легенди" та "Буддийські початки "слова" Le Dit de l'empereur Coustant i їх риси у славянському фолькльорі". Опріче останньої, що була читана на 3-му засіданні "Межинароднього конгресу des Traditions Populaires" (1889) всі инші друкувалися в болгарському виданні: "Сборникъ за народни умотворения, наука и книжнина". Величезна ерудиція авторова одкриває йому найширше поле до порівнянь і дослідів про генезу того чи иншого сюжету. Може бути, що деякі гіпотези автора не стоять на пілком твердому грунті (хоч би, напр., шукання джерела деяких оповіданнів у буддистів, в індійській літературі), але ж статії його показують не один новий шлях і дають надзвичайно багатий фактичний материял, велико коштовний для дослідника; вони безперечно посунули вже наперед і посуватимуть ще й далі роботу коло фольклору й історії всесвітнього письменства.

Для нас такі розвідки важні ще тим, що автор раз-у-раз уводить український фольклорний материял в коло світової науки про фольклор, дає йому добре історико-літературне освітлення, і через те чимало українських легенд і пісень набувають загального наукового інтересу.

Повна збірка праць Драгоманова про вкраїнський фольклор і письменство буде мати дуже велику вагу для нашої науки,—от через що ми з великим інтересом мусимо дожидатися дальших томів цінної роботи д. М. Павлика. Довівши видання до краю, Наукове Товариство ім. Шевченка заробить од усіх прихильників науки щирої дяки.

Я тільки хотів-би дещо зауважити з приводу плану видавництва. Треба було або поділити всі розвідки Драгоманова на группи відповідно до їх змісту, або—і це було б найліпше—надрукувати їх хронологичним порядком. Редактор не зробив а ні того, а ні сього. Розвідки группуються на томи якось випадково: робота з 1869-го року потрапляє до 3-го тому, а з 1886 года—до першого і т. и. Се вносить деякий безлад у видання і трохи плутає читача. Але можна тільки подякувати редакторові за його бібліографичні нотатки до кожної статії і за те, що він український переклад болгарських і московських праць Драгоманова зробив поправнішим і повнішим за перводруки: він користувався за для сього з власноручних додатків і поправок автора.

Б. Грінченко.

Харузинъ Николай. Этнографія. Лекціи. читанныя въ Императорскомъ Московскомъ университеть. IV. Върованія.

Харузина Въра. Матеріалы для бібліографіи этнографической литературы. С.-Петербурга, 1905. стор. 1—530, 1—295.

Року 1901 в Петербурзі, під редакцією Віри і А. Харузиних, почало виходити посмертне видання відчитів по етнографії, що мав небіжчик Н. Харузин у Московському університеті; до року 1905 вийшло три випуски: в першому—загальна частина й матеріяльна культура (стор. 1—349), в другому— сем'я і рід (стор. 1—340), в третьому—власність і первісна держава (1—331). Нарешті р. 1905 вийшов і 4-й випуск, який містить у першій частині розділ про вірування (стор. 1—530), а в другій частині—"Матеріалы для библіографіи этнографической литературы",—по-кажчик, що склала В. Харузина.

Не увіходячи в оцінку змісту сих видань, зазначаємо тільки, що сі відчити—це перша праця россійською, та і вза-галі слав'янською мовою, де дослідові етнографичних фактів надано певну сістему. Головна привмета сеї праці, рівняючи її до аналогичних праць чуж земних письменників, се використування етнографичного матеріялу з Россії. Видаючи дю солідну працю по смерти автора, редактори увесь час робили до неї додатки, в з'язку з ростом літератури. До четвертого ж випуску д. В. Харузина долучила бібліографичний покажчик праць, що торкаються етнографії. Се перша спроба в россійській літературі подати загальний покажчик россійських та чужоземних етнографичних праць—подібна до теї, яку для української етнографії зробив д. Б. Грінченко р. 1901, видавши окремою книжкою "Литературу украинскаго фольклора 1777—1901. Опытъ библіографическаго указателя (Черниговъ, 1901)". Окрім праць загального змісту для всесвітньої етнографії, використано ще праці про окремі краї: Азію, Африку, Америку, Австралію, та Європу, в дрібнішими географичними поділами. Що до Россії, то спочатку йдуть праці основного характеру (про народню творчість, звичасве право, вірування, місцеві говори, бібліографичні покажчики), а потім бібліографія праць про окремі етнографично-географичні одиниці. Українська етнографична бібліографія занотована в під'одділах: "Украинская область" та "Новороссійская область". Не кажучи вже про те, що ці дві "області" далеко не вичерпують усієї української людности, мусимо сказати, що взагалі покажчик праць з поля української етнографії виглядає досить наївно: раз узято справді цінну працю, а инший зновнічого не варту, або таку, яка з етнографією дуже мало має спільного,—напр., "Бесарабію" знаменитого П. Крушевана, то що... Напевне, д. В. Харузина не заглядала до згаданого покажчика д. Грінченка.

В. Д.

### Українська пресса.

Пишучи про рух української пресси в Россії за серпень, доводиться писати власне сумний мартиролог, бо за цей час не було ні одного придбання, а самі тільки втрати, що здебільшого явилися наслідком тяжких обставин, у яких стоїть пресса в Россії взагалі, а українська ще й надто.

Редакція петербурського місячника, "Вільна Україна," після того, як було сконфісковано 5—6 число цього місячника (вийшло

в липці), оповістила, що через тяжкі умови, в яких стоїть пресса, вона, редакція, мусить тепер припинити видання свого органу, хоч і не зрекається думки згодом озиватися знову до своїх читачів.

Редакція київського "Шершня", випускаючи 25—26 число, теж сповістила, що через "незалежні обставини" це число являється останнім.

Але найбільшою втратою для української пресси явилася, безперечно, заборона щоденної газети "Громадська Думка". Заборонено її після трусу, зробленого в редакції 18 серпия. При трусі знайдено деяку нелегальну літературу в столах у кількох співробітників, яких і арештовано, та вже за одним заходом припинено й газету на ввесь час військового стану. За одним же заходом арештовано й відомого публициста Сергія Єфремова, що в той час заступав редактора газети, хоча—скільки нам відомо—і не знайдено в його нічого нелегального.

Після трусу редакцію й контору газети запечатано, так що на деякий час віднято навіть змогу задовольнити тим чи иншим робом передплатників. Через цю ж причину забарилася трохи й восьма книга "Нової Громади" і мусила вийти без звичайного огляду українського й россійського життя.

Не побачила світу й 2-га книжка місячника "Хата", що виходить у Хотині під редакцією д-ра Немоловського, бо її сконфісковано.

Д. Лободовський перестав видавати свою "двотиженну" газету "Порада", якої тільки одно число й вийшло.

### Що є по журналах.

Записни Наукового Товариства імени Шевченка. Т. LXXII. Лист Володимирської громади з 1324 р. (факсіміде листу й печатки). Подав Мих. Грушевський.—До історії українського вертена. Історично-літературні студії й матеріяли. Д-ра І. Франка.—Ритміка українських пісень. Музикальносінтактична стопа. Написав Ф. Колеса.—До історії участи галицьких Русинів в словянськім конгресі в Празі 1848 р. Под. Ів. Созанський.—Рукописи Софійської катедри в Київі, огляд С. Маслова.—Полученне Сяна з дністром в ледовій добі, тимчасова звістка, подав др. Ст. Рудницький.— Міѕсенапеа: а) Справа поминання гетьманського імени на "переносі", под. Ів. Джиджора; б) Українська вірша про уманську різню, под. Ів. Кревецький; в) Пастирський лист Ангеловича з р. 1799, под. Ів. Крипякевич.— Наукова хроніка: Етнографія в західно-ввропейських часописях з р. 1904, з деякими доповненнями за р. 1903, под. З. Кузеля. Бібліографія (рецензії й справоздання). Зоря. Ч. 5—6. (Вийшло в липці). Єднаймося. Вірші Ів. Франка. Ліс гемонить. Поліська легенда В. Короленка. Пер. М. Вдовиченка. Заклятий скарб. Подільська легенда М. Старицького. Знеможеному борцеві. Вірші В. Скриника. Перелицьована "Енеїда" на селі. Б. Грінченка. Старій людині. Вагання. На мотів з Надсона. Вірші П. Капельгородського. Ілюстрації: Знімки з малюнків Пимоненка, Дубівського, Андрієва, Крамського.

Літературно-Науковий Вістник. Кл. VIII. Докінчене Івана Гуса. Т. Шевченка. Бабусині мрії. Г. Барвінок. На синяві небес. Вірші Дм. Йосифовича. Спомини з россійсько-турецької війни 1877—1878 року. М. Садовського. Спадок. З єврейських мельодій. С. Фруга. На боєвищі життя. А. Хомика. Суспільно-політичні погляди М. Драгоманова. Ів. Франка. Лихоліття, дія ІІ. Ги. Хоткевича. Еволюційні теорії. Г. Чемберлена. Мрії Каріни Брандт. Г. Гаерштама. Нерви і душа. М. Гаврилова. Сицилійські лимони. Піранделлю. Спісива. Навернена. Вірші Й. В. Гете. 12 статистичної комісії Наук. Тов. ім. Шевченка: 1) Завязанне Стат. ком. М. Грушевського. 2) Національна статистика Ст. Дністрянського. З) Потреби аграрної статистики. І. Франка. 4) Статистика зарібків і страйків. М. Лозинського. З біжучої хвилі: Після Думи. М. Грушевського. Українська трибуна в Россії (про "Укр. В'єстник") І. Франка. Бібліографія. Книжки надіслані до редакції.

Сьвіт. Ч. 9. Ніоба. О. Кобилянської. Зі сучасних німецьких поетів: В. Арент. Мелянхолія; К. Бульке. Пустинник; Роздоптане серце; Я. Давід. Дорогою. Пер. С. Яричевського. Чого нам смутно? А. Франса. Тінь. Е. По. Останні листи Якова Ортіса. Г. Фоскольо. До істориї взаємин Галичини з Україною. І. Лист Василя Білозерського до Омеляна Партицького. Подав К. Студинський. І знов мені снилась... Вірші В. Пачовського. З життя. Доля бідної "Параці". (Про комедію Лопатинського "Параця"). О. Луцького. Рецензії на книгу: Свпицикій П. Сношенія Карпатской Руси съ Россіей въ 1-ю полов. ХІХ в. Е. В. і на музичний твір: "Вставай, Україно!" Слова С. Яричевського. Музика Я. Лопатинського. С. Люджевича. Бібліографія. (Нові книжки).

Ч. 10—11. (Редакція повідомляє, що з причини виїзду за кордон О. Луцький виступив з редакційного комітету). Ніоба. О. Кобилянської. Надірвані струни. Вірші ІІ. Карманської. Іван Тхір. А. Франса. Ти кажеш: віща пісня гине. Вірші В. Щурата. Finale. М. Николича. Пер. з хорват. А. Карманський. З сучасних німецьких поезій. П. Барт. Мами. Р. Демель. Сповідь. Г. Фальке. Побожність. Л. Якобовскі. Бог. А. Мігель. Молитва дівчини. П. Ремер. Зімовий краєвид. Ф. Ніцше. Упадок. Р. Піпер. На жаріючім гостинці. Г. Штольценбері. На блакитнім склепінню небеснім. Е. Шур. Мертвецьке місто. Мій дім. Пер. С. Яричевського. За листком. Г. Стефчина. До істориї взаємин Галичини з Україною. Лист В. Вілозерського до О. Партицького. Подав К. Студинський. Останні висти Якова Ортіса. Г. Фоскольо. Лукін. І. Поріцького. Із мислий О. Уайльда. Зібрав. П. К. За пізно. Ю. Кміта. Обсервації: Як козаки п'ють горівку. Чи куриш то й кури. Із дрібничок. (Передрук з книжки: "Торбина сміху та мішюк реготу" А. Півня).—Переписка редакції.—Бібліографія.

Ч. 12—13. Ніоба. О. Кобилянської. Весідля в Семерівці, селі яворівського повіта. Ю. Кміта. Моредля. Е. По. За пізно. Ю. Кміта. Мірамаре. Вірші В. Пачовського. І чом та снишся? О. К—ича. Ув'ю вінок зі споминів о тобі. Вірші П. Карманського. Хто взнав з вас.—Серце.—Nocturno.—Зорі меркнуть.—Перед досьвітом. Вірші С. Твердохліба. Смерть музики. Й. Переца. З думок незнаного. Перед судом.—"Студінь зімно вам, мій пане". Вірші М. Чапранського. Казка про Япанського каміняра. Мультамулі. Пер. П. К. На двинтарі. Е. Сьвітенької. Кілька слів про Осіяна. П. Карманського. Колись затужимо. Вірші І. Данилова. Останні листи Якова Ортіса. Г. Фоскольо. Слово горя. Вірші О. Деревянки. А. Момберт. Тяша. Ф. Ніцше. Мудрець мовить. Вірші. Пер. О. Л. Козацькі часи в народній пісні. В. Будзиновського. Увага "Slow'y Polskiem'y". Поправки.

Ukrainische Rundschau. Me 7. Offenes Schreiben an die Reichsduma in Petersbourg. Von Professor I. M. Radetzkyj.—Die Agrarfrage in der Ukraine. Vom ehemaligen Reichsduma abgeordneten Wolodymyr Schemet.—Die Stellung der polnischen und russischen revolutionären Parteien zur ukrainische Frage. Von M. Lozynskyj.—Die ukrainische Literatur (1798—1905). Von M. Motschulskyj.—Zur neuen Heimat. Von. W. Potapenko.—Das Programm der ukrainischen demokratisch-radikalen Partej.—Rundschau.—Aus der ukrainischen Presse.—Bibliographie.

No 8. Die Ukraine im russischen Reichsbudget. Von N. Sokolow. Die galizische Streikjustiz. Von Dr. W. Batschynskyj. Die Stellung der polnischen und russischen revolutionären Parteien zur ukrainischen Frage. Von. M. Lozynskyj. Zur neuen Heimat. Von W. Potapenko. Das österreichische Ministerium des Innern und die polnischen Industieritter.—Bilder aus Galizien.—Aus der ukrainischen Presse.—Bücher und Zeitschrifteninhall.

Унраинскій Вѣстнинъ. № 9. Дума распущена... Мих. Могилянскаго.— Послѣ распущенія Думы. А. Русова.—Движеніе политической и общественной украинской мысли въ XIX столѣтіи. Проф. М. Грушевскаго.— Non multum, sed multa. Владиміра Ж.—Украинская пресса. И. С.—Ученое общество имени Шевченка во Львовѣ. Д. Дорошенка.—Изъ поѣздки по Украинѣ. С. Бородаевскаго.

№ 10. Подитическій моменть. М. Могилянскаго.—На очереди. Н. Долинскаго.—Какъ насаждается на Украинъ интенсивная культура. В. Доманицкаго.—На Украинъ.—Депутаты съ территоріи Украины и дъятельность ихъ въ Государственной Думъ. І. Условія избирательной кампаніи и составъ депутатовъ. Обозръвателя.—Изъ поъздки по Украинъ. С. Бородаевскаго.

№ 11. "На другой день". Проф. М. Грушевскаго.—Къ будущимъ выборамъ. М. Томары.—Что такое національность? Проф. Д. Овсянико-Куликовскаго.—Еще объ аграрныхъ процессахъ на Украинъ. М. Могилянскаго.—На Украинъ.—Депутаты съ территоріи Украины и дъятельность ихъ въ Государственной Думъ. П. Земельный вопросъ. Обозръвателя.— Украинскій "Соколъ" въ Галичинъ. Хроніка Наукового Товариства імени Шевченка у Львові. Р. 1906. Вип. 1. Ч. 25. Зміст: Справоздання за р. 1905: Діяльність виділу.—Діяльність секцій і комісій.—Наукові видання.—Почесні члени.—Дійсні члени.—Некрольог Володимира Лесевича.—Члени комісій.—Заряд Товариства.—Інституції, що обмінювалися з Товариством 1905 р.—Стан бібліотеки.—Стан музея.—Рахунок наукових видань.—Касове справоздання.

### Нові книжки.

Горова Н. Якъ берегтыся одъ хворобъ. Н. Горовои. Изд. Кіевск. Общ. Грамотности. К. 1906. 16 бок. 16°. Ц. 3 коп.

Господа нашого Інсуса Христа святе Евангелів від Матеея, славянською й українською мовою. Москва. Синодальная типографія. 1906. 160 бк. 16°. На окремій картці образ свангелиста Матвія. Ц. 25 коп.

Грінченко Б. Народні вчителі і вкраїнська школа. Видання "Громадської Лумки". У Київі, 1906. 50 бок. 16°. Ц. 4 коп.

Грінченко Б. Соняшний промінь. Київ, 1906. 276 бок. 8°. Ц. 70 коп.

3. М. Який бувае державний лад. Переказала М. З. Видавництво "Вік" № 55. Коштом книгарні "Кіевской Старины". У Київі, 1906. 71 бк. 16°. Ц. 8 коп.

Запирия М. Чередныкъ и дивчына та инше. Попереказувала М. Загирия. Выдавныцтво "Викъ" № 52. Коштомъ кныгарни "Кіевской Старины". У Кыиви, 1905 (але вийшла книжка року 1906). 82 бок. 16°. Ц. 8 коп.

Колесниченко T. "Піймав облизня!" Жарт на 1 дію. Полтава, 1906. 40 бок. 16°. И. 12 коп.

Краткій очерка исторіи Харьковскаго Университета за первыя сто л'ять его существованія (1805—1905), составленный профессорами Д. И. Багальемъ, Н. Ө. Сумцовымь и В. П. Бузескуломъ. Изд. Университета. Харьк., 1906. 329—XIV бок. 8°.

Murko M. Zur Geschichte des volkstümlichen Hauses bei den Südslaven. (Separatabdruck aus Band XXXV und XXXVI) (der dritten Folge Band V und VI) der Mitteilungen der Antropologischen Gesellschaft in. Wien. Mit. 9 Abbildungen im Texste. Wien 1906. 308—330+12—40+92—129+4 бок. 4°.

Норець. Граматка (Український буквар), з малюнками. Склав Норець. Вид. Є. Череповського. Київ, 1906. 48 бок. 8°. Ц. 15 коп.

Олександер Македонськый, ведыкый войовныкъ. Оповидання. Видавництво "Вік" № 53. Коштомъ кныгарни "Кіевской Старины". У Кыиви, 1906. 92—4 бок. 16°. Ц. 8 коп.

Письмо українських селян-радикалів із Галичини та Буковини до селян-послів россійської Державної Думи в Петербурзі. Видав М. Павлик. Льв. 1906. 15 бок. 16°. Ц. 15 сот.

Програма Української Народньої Партії. З друкарні товар. "Руска Рада" в Чернівцях. 1906. 47 бок. 8°.

Танячкевич Д. Листи Данила Танячкевича до Михайла Драгоманова (1876—1877). Зладив і видав М. Павлик. Львів, 1906. 36 бок. 8° мал. Ц. 40 сот.

Щурат В. Грунвальдська пісня (Bogurodzicza dzewicza). Памятка западно-руської літератури XIV в. Жовква. Наклад М. Петрицького. 3 печатні оо. Василиян. 1906, бок. 52 і на окремій картці фотографічна знимка з Кцинського тексту Матія з Грохова.

Яцимірскій. Изъ исторіи сдавянской письменности въ Моддавіи и Валахіи XV—XVII вв. Введеніе въ изученіе сдавянской дитературы у Румынъ. Тырновскіе тексты сдавянскаго происхожденія и замѣтки къ нимъ. Спб. 1906. 118→176 бок.

Ацимірскій. Изъ исторіи славянской пропов'яди въ Моддавіи. Неизв'ястныя произведенія Григорія Цамблака, подражанія ему и переводы монаха Григорія. Спб. 1906. 166+125 бок.

Редактор *Серий Єфремов*. Видавець *Євген Чикаленко*.

Місячини для седин в відділами: політичним, господарським і лікарським почав ниходити в 1-го липци.

# XATA WE WE

Виходитиме 1-х чисел кожного місяца книжками 272 аркуші 8°. Місячник **КАТА** коштує: на ¼ року 95 коп. на ¼ року 60 к. окрема княжка 25 коп.

Передплата 1 листи адресуються:

єдинці, Бессарабської губ. Д-ві Немоловському.

Редактор-видамець Д-р Неноловський.

#### 

продаються в книгарні "Кієвской Старины"

(Везаківська, 8).

OUL REBRIES

# B. PPHHERKA.

1. Сам собі пан. Оповідання.

Ulba 3 non-

- 2. На беапросвѣтномъ пути. Объ украннекой школѣ. циа 25 ков.
- 3. Якої нам школи треба.

Ilina 4 sun.

4. На новий шлях.

Ціна 30 коп.

- 5. Бебель та Пернерсторфер. Національна та інтернаціональна іден. Переклад з передмовою Б. Г. піна 15 коп.
- 6. Оповідання з української старовини. Вып. І. Піна 10 кол.
- Народні вчителі і вкраїнська школа. (Друкуванов).

# Нова Громада

# ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ МІСЯЧНИК

містить твори красного письменства (поезії, оповідання, повісті, драматичні твори), наукові й публіцистичні статті, огляд політичного і громадського життя на Україні й по-за її межами і т. и.

### Виходить що-місяця книжками по 10 аркушів друку.

В перших сімох княжках надруковано орігінальні й перекладні твори оціх авторів: Х. Алчевської, А. Бебеля, П. Беранже, О. Білоусенка, Ів. Бондаренка, В. Винимчика, М. Вороного, П. Грабовськаго, Г. Гейне, А. Гембека, Г. Григоренка, Б. Грінченка, В. Гюго, Н. Дмитрісва, В. Доманицького, Д. Дорошенка, С. Єфремова, Ж. Нореса, М. Загіри ої, П. Капельгородського, М. Конарова, М. Коцюбинського, ороф. А. Кримського, М. Левицького, І. Лими, М. Лозинського, О.Лотоцького, Мандрівця, Д. Марковича, Ф. Матушевського, В. Милорадовича, В. Мировця, М. Павловського, Л. Пахаревського, Б. Пернерсторфера, В. Пісначевського, І. Рульки, В. Сивенького, П. Смутка, Г. Супруненно, А. Тесленка, І. Труби, Л. Українки, Ф. Фегі, А. Франса, М. Чернавського С. Черкасенка, М. Чернявського, Н. Черкяка, Б. Щербеківсь ої, Л. Яновської, Б. Ярошевського та ик.

Ціна зъ пересплкою на рік 6 карб.; за кордон— 8 карб. 50 коп.; окрема книжка коштує 60 коп. Адреса редакції місячника НОВА ГРОМАДА— Київ, Михайлівська ул., № 10.

Рукописи, яких родавцій не мізьме до муривалу, беремуться шість місній післи того, як одісламо про це звістну авторові, а тоді, коли автор не пришле на пересилну їх грошей,—зниц ються.—Вірші, не манті до друку, зовеім но збер гаються; ноли автор но одермить три міскці ніжеї звістни про їх, вій може давати їх до пишого вида на. Я приводу віршів родавцій НЕ ЛИСТУЄТЬСЯ.

Передплачувати НОВУ ГРОМАДУ можна також у книгари! «Кіевской Старины», у Київі, Безаківська ул. Ж 14. У Львові журнал можна передплачувати в Книгариі Наукового Товариства ім. Шевченка, ул. Театральна, ч. 1.

Редактор Серій Бфремов. Видавець Євіси Чикаленко.